



Александр Проханов

Надпись

«Центрполиграф»

2016

Проханов А. А.

Надпись / А. А. Проханов — «Центрполиграф», 2016

В романе Александр Проханов рассказывает о том времени, когда он формировался как писатель, политик и философ, жадно поглощая явления окружавшей его русской жизни. Эти годы выпали из историографии современных либеральных исследователей. Они сделали ставку на 60-е, создав представление о поколении шестидесятников – диссидентов, отрицателей строя, духовных бунтарей. Но были и семидесятники, о которых так мало говорится и так мало знает общественность. 70-е годы – это очень яркий период нашего общества, которое вовсе не было застойным: в нем двигались воззрения, формировались философские школы, существовали яркие явления культуры и политики. В романе рассказывается об архитекторах-футурологах, которые мечтали о строительстве городов на дне океана и на Луне. О космистах, способных заложить абсолютно новую советскую техносферу. О подпольных, почти катакомбных, христианах, которые в то время демонстрировали очень высокий пафос духовной православной жизни. Это повествование о сложнейших взаимодействиях внутри государственных и политических структур. О конфликтах партии и госбезопасности, об устройстве крупнейших медийных концернов советского времени, а также о той драме, которая случилась на советско-китайской границе, на реке Уссури и была связана с именем Даманский. Роман «Надпись» – это эпос советского времени, написанный уже теперь, в новые времена. И его цель – восполнить белое пятно, существующее в нашей культурологии.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	9
Глава 3	13
Глава 4	19
Глава 5	30
Глава 6	41
Глава 7	48
Глава 8	52
Глава 9	65
Глава 10	69
Глава 11	78
Глава 12	80
Глава 13	89
Часть вторая	101
Глава 14	101
Глава 15	108
Глава 16	113
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Александр Андреевич Проханов

Надпись

*И дам ему белый камень и на камне написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает.
Откровение святого Иоанна, гл. 2, стих 17*

Часть первая

Мост

Глава 1

«Я – мост, из камня, железа, бетона. Мои вытянутые упругие ноги упираются в серую кручу, поросшую мхом и лишайником. Мой твердый хребет улегся крестцом на гранитные, омываемые потоком опоры. Мои руки хрустят в локтях, силась дотянуться до насыпи в малиновых гривах кипрея. Над моим животом прозрачным сверкающим кружевом взлетают стальные конструкции. Дрожу, сотрясаюсь. Наращиваю могучую плоть, взбухшая бетонными мускулами. Сбрасываю в реку тягучие космы огня. Чувствую спиной дыхание огромной реки, ревущие водовороты, фонтаны тяжелых брызг. Подставляю грудь под удары холодного ливня, ожоги горячего солнца. Я – мост, переброшенный через сибирскую реку. Стремлюсь от берега к берегу, стягивая воедино два громадных ломтя континента».

Михаил Коробейников утвердил стопу на гранитной плите в рыжих сухих лишайниках. Раскрыл блокнот, навесив его над простором сияющих вод, по которому темной трепещущей линией был прочерчен мост. Коробейников заносил в блокнот быстрые фразы, моментально возникавшие образы. Словно рисовал мост с натуры. Жадно охватывал зоркими молодыми зрачками, отождествляя себя с мостом. Чувствовал мускулами его живую геометрию, его рост и стремление, свою с ним таинственную связь. Механизмы в реве моторов, в полыхании сварки, в стуках молотков и вибраторов строили мост над рекой. Он же своими зрачками, ударами ручки в блокнот, страстным жадным порывом строил мост на бумаге. Помещал в свою книгу. И она, ненаписанная, сыпала к туманной воде рыжие и красные искры, дышала сырым бетоном, нежно сияла лучистой сталью, повисшей в пустой синеве.

«Я – мост, собираю в себя грубую материю мира, облекая в нее прозрачную, совершенную мысль. В мою утробу валят бетонную жижу, месят ее вибраторами. Она заливает мое нутро, охватывает железный скелет, застывая могучими мускулами. Сквозь меня продерживают железные жилы, сваривают раскаленным газом. Угрюмая мощь двутавров держит непомерную тяжесть, от которой на мне выступает металлический пот, опадает в реку огненная роса. В меня вгоняют отточенные костыли, буравят сверлами, клеймят заклепками. Меня режут фрезами, долбят и вытачивают. Я чувствую нестерпимую боль, среди которой рождается моя плоть, моя несокрушимая мощь, мое бытие. Хриплю от боли, ахаю от ударов, стенаю от ран и проколов. Но радуюсь боли творения, верю сотворяющему меня, покорен воле Творца. Раскрываю над рекой стальные полукружия пролетов, похожих на крылья серебряного туманного ангела».

Коробейников озирает громаду моста. Страстно, жадно ударяет зрачками в мерцающую кромку, где сверкало и плавилось, осыпалось красными брызгами. Будто мост врезался в невидимую твердь, не пускавшую его. Разрушался, горел, но упрямо стремился вперед. Как и он, художник, что писал свою книгу на сибирской реке. За его спиной поднимался молодой белостенный город, летели по трассам машины, круглились громадные, как аэростаты, цистерны, в болотах насосные станции жадно сосали нефть. На другом берегу в розовой дымке цвел багульник, туманилась тундра, мерцали болота и топи. Туда, к месторождениям, упрятым в кудрявые дали, тянулся мост, рвалась индустрия. Коробейников всматривался в голубую пустоту континента, где чудились новые города, драгоценные кристаллы строе- ний. Мерещился миф о восхитительном будущем, которое он сотворял, заноса в блокнот являвшиеся мысли и образы. Нависший над мостом вертолет, под которым на тонкой струне качалась лучистая ферма. Буксир, подгонявший к мосту баржу с песком и камнями, где из воды вырастала опора. Он сотворял на бумаге несуществующее, желанное будущее. И сам сотворялся, пребывая в чьей-то благой и любящей власти, поставившей его на откосе сибир- ской реки.

«Я – мост, рукотворный, изделие рук человеческих, часть природы и космоса, неот- делимый от вод и небес. Разрезаю опорами поток могучей реки. Живу среди рыбьих плес- ков, осетровой икры и молока. Меня омывают ливни, бьют голубые молнии, развешивают в небесах семицветное мое отражение. В бетонной плите замурован завиток первобытной ракушки, отпечаток резного папоротника. Мои фермы из той же стали, что и железная сердцевина Земли. К моей каменной огромной ноге прилепился зеленый мох. В крохотной лунке расцвел робкий цветок лесотундры. На меня из далеких лесов смотрят медведи и лоси. Ночью по блестящей дуге до меня долетела пылинка метеорита, оставила нежный, едва ощутимый ожог. На стальную ветку пролета, в лучистую, из металла и света листву, села птица с розовой грудкой, тихо просвистела и канула. Мне хорошо среди утренних зорь, угрюмых мгlistых закатов, под светом туманной луны».

Коробейников видел, как мелькают на мосту оранжевые каски строителей. Люди обле- пили мост, ухватили сотнями рук. Тянут, толкают, удерживают на плечах. Вдувают огонь, мнут в шершавых ладонях. Казалось, каждый вырывает из себя живую плоть, отдает мосту, и тот жадно плотает. Натягивает в себе людские жилы, напрягает кости и мускулы, дышит лег- кими, стоглазо мерцает, охваченный жаркой испариной. Водители самосвалов подгоняли к середине моста дымные грузовики, вываливали парную гущу. Монтажники висели под фер- мами, как зыбкие паучки, вонзали в двутавры шипящие электроды. Крановщицы в застек- ленных кабинах протягивали длинные руки кранов, опускали кипы железных прутьев. Авто- генщики в масках зажигали синие звезды, и казалось, из их прохудившихся роб сыплется в воду золоченый песок. Коробейников восхищался работой мостовиков, был частью рабочей артели. Отдавал мосту блеск своих глаз, глубокие вздохи, молодые удары сердца. Он был инженер и творец, создающий могучее диво. И был во власти Творца, пославшего его в этот мир, сотворяющего по таинственному плану и замыслу.

«Я— мост, заостренный вектор, стремление вперед, направление могучих ударов. Во мне клокочет вода, бушует газ, бежит электричество. На меня ложатся рельсы стальной колеи. Я – таран, прошибающий угрюмую толщу. Гарпун, вонзенный в набухший загривок будущего. Бессчетные составы провезут по мне детали домов и машин, соберут у кромки ледового моря. Среди полярных сияний встанут города и заводы, раскинутся космодромы и порты, и из темного мироздания, с чудным ликом, шумя драгоценными крыльями, опу- стится Ангел, вестник грядущего Рая...»

Коробейников казался себе мостом, перекинутым из полузабытого прошлого, где размыто, словно невнятный сказ, присутствовал его исчезнувший род, неведомые и любимые прадеды, – в несуществующее, недоступное будущее, где ждали своего появления его нерожденные внуки. В одном с ним времени жили мама и бабушка, звучали их голоса, светлели родимые лица. Его окружали жена и любимые дети. Но он был мостом, по которому в грядущее катилась непрерывная, неясная весть, передавались заветы и заповеди. Все они, рождаясь и умирая, продлевая род, несли в себе загадочный замысел, терпеливо ждущий кого-то, чтобы в нем наконец воплотиться.

«Я – мост, исполнен добра и смысла. Люблю сотворяющих меня, упорных и усталых людей. Знаю их утехи и нужды. Когда возник перебой с бетоном, бетонщики отложили вибраторы и резались в карты, швыряя королей и дам на замызганные плиты, под которыми катила река. Когда задержали зарплату, рабочие окружили прораба, яростно и зло матерились, подносили к его глазам громадные кулаки, теснили к краю, готовясь скинуть в летящие водяные воронки. Когда объявили аврал, привезя на мост ящик с двойной зарплатой, бригады устремились в прорыв, как штрафные батальоны, закопченные и худые, словно черти, блестя из-под касок глазами. Когда подбили итог, раздали зарплату и премию, тут же пили водку, вскрывали тушенку, хохотали, сдвигая стаканы, кидая консервные банки в огромный синий поток. Ночью в вагончике молодой мостовик завалил на железную койку захмелевшую крановщицу, мямлил ее могучие груди, целовал голубые бусы, а она тихо ахала, прижимала его крестец белой большой рукой. Люблю их всех, создающих меня на этой сибирской реке. Когда они построят меня и уйдут, в моих швах и расщелинах останется забытая горстка монет, рассыпанные синие бусины...»

Коробейников наслаждался писанием с натуры. Картины и образы вычерпывались из окружающей жизни, просачивались сквозь тончайшие фильтры зрачков, дышащую грудь, жарко стучащее сердце. Пролетали сквозь чуткие напряженные мышцы плеча и запястья. Срывались с пера, испещряя блокнот неровно бегущими строчками. Среди этих пляшущих строк возникала иная реальность – огненно-алый куст багульника, лазурно-сияющие водовороты реки, искрящаяся лучистая сталь, сквозь которую мягко и чудно голубели дали, волновались леса, стремился незавершенный пролет моста.

Внезапно среди этой второй, сотворяемой на бумаге реальности возникло ощущение тревоги. Словно в зрачок ударила невидимая частица. В кровь залетел крохотный темный вихрь. Сорвался с пера, унесся через реку, где возникла темная мгла, поднялась непроглядная муть, потекли ядовитые гнилые туманы. Будущее, минуту назад казавшееся ослепительным чудом, теперь горело пожарами, клубилось взрывами, осыпалось обломками. На выжженное пепелище, усыпанное ржавой окалиной, опускалось из неба огромное жуткое чудище, опоясанное обручами, озаренное багровыми отсветами, быющее из железной башки ртутными злыми лучами.

Мост горел и дымился. Река бурлила фонтанами взрывов. Из тучи в боевом развороте, сквозь разрывы зениток пикировал самолет. Били из-за реки пулеметы. Кто-то бежал на мост, падал с пробитой грудью, быть может, его нерожденный внук. Ахающий удар прилетевшей с океана ракеты раздвинул реку до дна, сломал и обрушил мост, вскипятил кружевную сталь, унося в небеса гриб раскаленного пара.

Будущее на мгновение раскрыло свой огромный, полный фиолетового ужаса глаз и тут же его сомкнуло.

Коробейников очнулся. Мимо шел оранжевый гремющий бульдозер. Нес впереди блестящее зеркало ножа. Окатила Коробейникова белым горячим солнцем. Бульдозерист огля-

нулся на него из кабины. Коробейников подобрал упавший блокнот. Смотрел, как шевелится над рекой живое тело моста.

Ночью он вернулся на берег.

«Я – мост. Я создан из звезд...»

Чуть видная, огромно и мощно текла ночная река. Мост сыпал во тьму розовые и желтые космы. В просторном небе, среди белых августовских звезд, туманился другой мост, переносивший свою млечную синусоиду из одной галактики в другую. Среди неподвижных созвездий плыла крохотная ясная звездочка. Американский спутник-разведчик шел над Сибирью. Фотографировал инфракрасной оптикой строительство стратегического моста через Обь.

Глава 2

Коробейников лежал в теплой сочной траве на берегу быстрой прозрачной речки, среди цветущей поймы, которая мокро и пряно благоухала перезрелыми травами, белела огромными зонтичными цветами, жужжала шмелями и разноцветными мухами. Ленивые бронзовые жуки перелетали с цветка на цветок, падали в соцветия, словно солнечные зеленые слитки, замирали среди сладких соков и запахов. Его командировка подходила к концу. За спиной оставалась огромная Обь, мосты и новые города, буровые и секретные атомные центры, черные смоляные фонтаны нефти и драгоценное сверкание приборов. В его распухом блокноте хранились беглые описания клетчатых, словно соты, ядерных реакторов и буйных стоцветных сенокосов. Его перенасыщенная впечатлениями память несла в себе образы серебряных танкеров, скользящих на север в сиянии бескрайних разливов, и ночные пуски могучих турбин, от которых по тайге разбегались алмазные плески огней. Ненаписанная книга парила в небесах вертолетами, плыла по Оби кораблями, погружала корень в нефтяные недра, открывала антенны в лучезарный космос.

Машина с водителем была где-то рядом, за кустами и травами. Он лежал на теплых травяных стеблях, оставлявших на голом теле сетчатые отпечатки, отмахивался от зеленоглазых алчных слепней, шлепая ладонью по плечу и груди. Предвкушал, как через несколько часов машина подвезет его к трапу огромного самолета. Ровный полет на белой громаде. Нежно ревущие жерла раскаленных турбин, поющих какую-то бессловесную величавую песнь. Вечерний кристалл Домодедова. Восхитительные березняки, мелькающие сквозь хрустальное окно автобуса. Горячая, летняя, пахнущая клумбами, бензином и духами Москва, где обитают любимые, близкие, поджидает свежий номер газеты с его напечатанным очерком. И он, оказавшись в московской круговерти, уже никогда не вспомнит эту малую сибирскую речку, солнечное мелькание на перекате, близкий, пышный, как кружевной воротник, цветок, в котором замер, словно драгоценная брошь, изумрудный жук.

На другом берегу близко, шумно показалось стадо. Медлительные коровы выбредали из кустов, волоча по высокой траве переполненные вымена. Блестели глазами, отбивались хвостами и губастыми рогатыми головами от мошек и слепней. Шли к речке, забредая по колено. Жадно припадали к воде, начиная сосать и цедить сквозь зубы водяной холод, пуская вниз по течению солнечные круги и волны.

Коробейников через реку чувствовал горячее млечное стадо. Жизнь животных загадочным и чудесным образом сочеталась с его жизнью, как и с жизнью шмелей и жуков, деревьев и трав, окружавших его молчаливыми бесчисленными судьбами. Внешне отделенные друг от друга, они все сочетались в безымянное, неразделимое целое, данное им как восхитительный и таинственный дар.

Стадо без пастуха потопталось, почмокало на берегу. Напившись, медленно потекло обратно в заросли, отливая красно-золотыми спинами, качая черно-белыми пятнистыми боками. Одна светло-коричневая телочка осталась у воды, вытягивая розовую нежную голову, словно тянулась к нему через блестящий поток, ловила его запахи влажными большими ноздрями, всматривалась темными внимательными глазами. Это показалось Коробейникову забавным. Он кивнул глазастому, вишнево-розовому существу, словно приглашая к себе, через реку. И почувствовал, как его неизреченная мысль долетела до чуткого зверя, нашла в нем отклик, вернулась через реку обратно, породив в груди Коробейникова, где-то под дышащим сердцем, ощущение теплоты. Между ними над самой водой протянулся невидимый волновод, по которому бежали теплые, едва ощутимые волны. Две их жизни, столь разные, отделенные одна от другой замыслом Божиим, встретились на берегах малой речки, ощущали свое единство и нерасторжимость, давали друг другу об этом знать.

Ему вдруг померещилось сквозь колыхнувшийся воздух, по которому пробежала стеклянная рябь, что это молодая, с нежной шеей и золотистыми шерстяными ушами корова есть не кто иной, как неведомая ему, знакомая лишь по фотографии в старинном альбоме, его прабабушка Аграфена Петровна. «Баба Груня», как называла ее нежно и печально мама, разглядывая в альбоме доброе, простое, с большими губами и тихими печально-прекрасными глазами крестьянское лицо давно умершей женщины, от которой повелся их огромный цветущий род. Эта мысль была странной и правдоподобной. Объясняла единство их жизней. Мнимую их разделенность, потаенную связь. Стремление, встретившись на берегах безымянной речушки, сойтись, объясниться, поведать друг другу сокровенное, родовое. Он уже не сомневался, что это баба Груня. Таинственным и волшебным образом не умерла, не исчезла, а превратилась в кроткую корову. Узнала его через реку, тянется, желая передать какой-то старинный, важный завет.

Это языческое озарение восхитило его. Он приподнялся из травы, устремился глазами к коричнево-розовому, удаленному существу и стал звать к себе. Телка будто услышала его. Сделала шаг к воде. Чуть помедлила, пугаясь бегущего солнечного блеска. Забрела поглубже, осторожно щупая дно. Коробейникову казалось: он видит, как в прозрачной воде упираются в дно ее острые раздвоенные копытца, как летит по течению золотистое размытое отражение.

«Ну, плыви же... Сюда, ко мне...» – приглашал он ее, все еще сомневаясь, что она его слышит, но тайно и страстно веря, что не обманывается, что это чудо, что волшебный установившийся между ними световод донесет его страстное приглашение.

Телка пошла вперед, погружаясь по колено, по грудь, вытягивая вверх шею, чуть вздрагивая нагретым телом от водяного холода. И вдруг поплыла, держа над водой вытянутую вперед голову, на которой испуганно и восторженно сияли глаза, прижимались и шевелились нежные крупные уши, дышали большие пугливые ноздри. Коробейников ликовал, глядя на плывущего зверя, на темный поблескивающий след, на колыхание в воде живого звериного тела, сносимого по течению, с которым телка боролась, двигая невидимыми боками, продолжая смотреть на Коробейникова.

«Ко мне... Я здесь... Еще немного...» – поощрял он корову, протягивая к ней через реку невидимый луч, чувствуя их связь через пространство бегущей воды, зная, что животное откликается на его зов, стремится к нему, и в этом стремлении таится чудо, соединяется распавшийся род, одолевается губительное время, побеждается смерть, открывается великая тайна неисчезающей жизни, одинаковой во всех существах, стремящейся к своему изначальному единству.

Корова достигла середины речки, и было видно, что она устала. Ее сносило течением. Голова все так же смотрела на Коробейникова, но туловище все больше разворачивалось в сторону. Теперь телка держалась на одном месте, двигая что есть мочи ногами, обращая вытянутую морду навстречу потоку, поднимая перед ноздрями солнечный стеклянный бурун. Внезапно ее голова погрузилась. Снова всплыла. Было видно, что глаза, окруженные белесыми ресницами, исполнены ужаса. Должно быть, она плотнула воды, захлебнулась. Перестала бороться с течением. Ее развернуло и несло теперь вниз, толкало в спину потоком. Вытянутая золотистая голова с прижатыми ушами то погружалась, то всплывала среди блестящей воды.

Коробейников испугался. Корова тонула. Он быстро шел по берегу, продираясь сквозь хрустящие белые соцветия, стараясь догнать ее, не понимая, что должен делать. Зверь, которого поманил к себе, увлек в воду, обращал к нему свой любящий зов, теперь тонул по его вине, поверив ему, вняв его нежному призывному зову.

Тонула не молодая золотистая корова, а его прабабка, баба Груня, которая спрятала в нежный животный образ свое милое родное лицо, чье подобие было на лице и мамы, и бабушки, и на его собственном, с чертами фамильного сходства.

Чудо, на которое он уповал, которое должно было вот-вот совершиться, теперь жестоко и страшно обрывалось среди летнего блеска реки, душистых цветов, голубого неба. Молча и беспомощно неслась по течению коровья голова, всплывала и погружалась, и с каждым погружением все больше воды вливалось в ее усталое тело. Она тяжелела, все послушнее и безропотнее отдавалась слепому потоку.

«Не тони...» – беззвучно крикнул он гибнущему животному и, не успевая понять всего, что с ним происходит, кинулся в реку.

Упал горячей грудью в студеный обжигающий блеск. Бурно поплыл, глядя, как приближается глазастая, наполовину утонувшая голова. В шуме, в плеске, в бессловесной мольбе достиг середины. Ухватил рукой за скользкий загривок. Корова тонула, глядя на него полуслепыми глазами, в которых отражался помутненный мир. Коробейников охватывал твердую шею зверя, старался приподнять над водой дышащие ноздри. Барахтался, чувствовал касание шерстяного бока, слабые удары коровьих ног, тянул животное к берегу. Сам выбивался из сил, захлебывался. Видел сквозь брызги свои ладони с прилипшими золотыми шерстинками.

Это было похоже на безумие. Бегущая река, и в бурлящем потоке он обнимает тонущее животное. Не справлялся, не хватало дыхания. Коровья голова вырывалась, погружалась под воду. Он нырял, видя размытое золотое пятно. Хватал наощупь, тянул вверх. Толкался ногами, загребая одной рукой, обнимая другой отяжелевшее животное.

Их снесло на мелководье. Он нащупал кончиками пальцев дно. Встал, кашляя, выплевывая воду. Видел, как на глубине медленно движется мимо него золотистая тень утонувшей коровы.

Остановилась, зацепившись за подводные камни. Он нырнул, выдрал на поверхность мокрую, со стекавшей водой голову, надеясь, что она задышит. Тяжелая голова выскользнула, опять погрузилась. Он видел на мелководье сквозь стеклянную толщу эту недвижную голову, серо-розовые, чуть разъятые губы, широко раскрытый, немигающий, голубой глаз, над которым бежала вода.

Собрав остаток сил, он ухватил эту голову и повлек на берег, выволакивая из воды животное, которое становилось все тяжелее, цеплялось копытами о дно. Надрываясь, вытянул ее на сушу.

Телка лежала яркая, мокрая, словно отлитая из золота. С нее обратно в реку стекала вода. Задние ноги были раздвинуты. Виднелось нежное, начинавшее набухать вымя с розовыми сосочками. Что-то страстно и нелепо бормоча, он схватил ее передние ноги. Стал сгибать, разгибать, надеясь втолкнуть ей в грудь воздух, ожидая, что из губ ее хлынет вода, она издаст громкий вздох, ее голубые глаза дрогнут. Бился над ней, умолял, требовал, чтобы она ожила. Требование это было к кому-то незримому, кто наблюдал за ним из-под белого облака, не хотел помочь, оставался безучастным к мольбе.

Обессилив, отпустил коровьи ноги. Они вяло упали, стройные, сухощавые, с острыми костяными копытцами. Сел рядом, в мокрых штанах, исцарапанный, с порезом на ноге, по которой скользнула отточенная створка ракушки.

Ему было худо. Его обманули. Не дали насладиться заветной встречей. Рассекли таинственные узы, соединявшие род. Оборвали бежавшую из прошлого в настоящее безымянную весть. И это горе, случившееся с ним на безвестной сибирской речке, было столь велико, что он разрыдался. Сначала беззвучно, потом все громче и громче.

Кругом стояли пахучие зонтичные цветы. Перелетали шмели и бабочки. Рядом, словно отлитая из золота, лежала недвижная корова, из-под которой вяло тек солнечный ручей. А

он громко рыдал. Вздрагивал плечами, не понимая, за что наказан. В чем его грех, который не позволил кроткому зверю переплыть эту речку, передать ему чудную заповедь, оставил его в вечном неведении.

Рыдания его становились тише. Он успокаивался. Омыл в реке слезы и кровь. Опустошенный, не понимая, что с ним приключилось, не оглядываясь на утонувшую корову, пошел по берегу, выбираясь к дороге, где поджидала машина.

Шофер слушал радио. Обратил на него испуганное лицо.

– Слышали? Наши войска вошли в Чехословакию. Дубчек арестован. Чего доброго, американцы ударят в ответ. Ну и дела!

Сквозь бульканье и трески эфира властный металлически непреклонный голос диктора сообщал о переходе советских, польских и восточногерманских войск чехословацкой границы. Об аресте Дубчека, Черника и других деятелей Пражской весны, чьи действия были направлены на слом социалистического содружества.

– Ну и дела, – повторил шофер. – Что делать-то будем?

– В аэропорт, – произнес Коробейников, натягивая на мокрые плечи рубаху.

Глава 3

Газета, в которой он недавно работал, приглашенный после выхода его первой, романтической, наивно-восторженной книги, – мощная многотиражная газета, управлявшая идеологическими потоками и культурными течениями в среде интеллигенции, размещалась на бульваре в конструктивистском тяжеловесном здании с железным лифтом, сумрачными коридорами и тесными переполненными кабинетами. В здании пахло металлом, маслами, типографской краской. Тут же ухали и чавкали печатные станки, плавился и дымился свинец. Грузовики подвозили громадные рулоны бумаги, отвозили тяжелые кипы свежотпечатанного тиража. Дом был заводом, где производились идеи, строилась политическая машина, создавались тонкие, постоянно менявшиеся технологии. Но так же и лабораторией, где ставились сложные и подчас опасные эксперименты, запускались в общественное сознание мифы и отвлекающие фантомы. Впрыскивались возбудители, способные довести общество до истерики. Вливались транквилизаторы, повергавшие публику в апатию. Создавались интеллектуальные инициативы, разбивавшие в прах устоявшиеся догмы и штампы. Выставлялись ложные, призрачные цели, куда заманивалась общественная энергия и гасилась там, как в искусно расставленных ловушках. Коробейников любил газету, благоговел перед многомудрыми, засевающими в кабинетах умниками, каждый из которых, подобно алхимику, создавал волшебные порошки и зелья, растирал в невидимых ступах грубое вещество реальности, превращая его в цветной дым, в галлюциногенный пар, в загадочное мерцание мгновенно вспыхивающих и медленно гаснущих мыслей, за которыми, как за манящими светляками, устремлялась наивная, жаждущая новизны и истины публика.

Ему доставляло наслаждение по заданию редакции промчатся на ревущих турбинах над гигантской страной. Прикоснуться к огненному бархану в Каракумах. К серой броне тихоокеанского корабля. Поднести к лицу пахнущую медом горсть целинной пшеницы. Припасть к телескопу в армянских горах Бюрокана. А потом увидеть на огромном листе газеты свой свежий, черно-белый, словно черненное серебро, очерк в руках незнакомого человека, развернувшего номер в вагоне метро. Наблюдать, как бегают по строчкам его внимательные глаза. Знать, что в эти мгновения он, Коробейников, властвует над незнакомцем, управляет его мыслью и волей.

Газета была мощным циклотроном, бросавшим его как частицу по огромным траекториям мира. Была университетом, где он учился неписаными теориями, политическим наукам, загадочным магическим знаниям, с помощью которых велось управление громадной стоязыкой страной, наполненной противоречиями и конфликтами. Сейчас он явился в газету с дерзким намерением, уповав на везение, пользуясь своей ролью специального корреспондента и баловня, к которому благосклонно относилось начальство.

Еще не заходя в кабинеты, двигаясь по коридорам, он улавливал бегущие по зданию волны тревоги и возбуждения. Пражские события, громкий и опасный кризис, разрастающийся в Восточной Европе, накрывал своей ударной волной все новые зоны. Нес разрушения, искажал идеологические и политические контуры. Газета множеством чувствительных датчиков фиксировала действие взрыва. Создавала его многомерный портрет. Рисовала для публики его пугающий грозный образ, учитывая невралгию растерянных и взвинченных интеллигентов, фрондирующих писателей и актеров, диссидентствующих интеллектуалов, либеральных «западников» в науке и державных «почвенников» в партии, сторонников сильной власти в экономике и скрытых приверженцев Сталина в разведке и армии. В каждый слой газета направляла сигнал. Успокаивала, обнадеживала, тайно угрожала и предупреждала. Эта лихорадочная работа газетных отделов чувствовалась в коридорах, приемных, у дверей кабинетов, мимо которых проходил Коробейников.

В международный отдел торопливо, почти бегом, влетал специалист по европейской политике. Нес раздувавшийся парус черновой газетной полосы, исчерканной, испещренной фломастерами, с грубым свинцовым оттиском фотографии, на которой угадывался танк, ребристые шлемы экипажа и какие-то люди на мостовой, поднявшие в приветствии руки. Специалист, обычно надменный и чопорный, как и все сотрудники отдела, демонстрирующий свое превосходство над остальной редакцией, пропадавший в зарубежных командировках, сейчас был взлохмачен, с расстегнутым воротом, в табачном пепле, словно сам только что вылез из танка. Комната редактора, куда он вбежал, была наполнена высоколобыми спецами по внешней политике, экспертами из МИДа и неприметными людьми из разведывательного ведомства. Тощий лысый «американист» с лицом желтого, дынного цвета раздраженно восклицал:

– До какой же степени можно дозировать информацию!.. Тогда ее станут брать из Би-би-си и «Голоса Америки»...

В военном отделе царило радостное возбуждение. Там собрались репортеры, писавшие о маневрах, ракетных испытаниях, бравшие интервью у маршалов Великой войны. Здесь всегда царил дух милитаризма, насмешливое отношение ко всевозможным «разрядкам» и «оттепелям», скептицизм по поводу разоруженческих переговоров. Теперь тут ожидали настоящую работу в зоне военного кризиса. Гадали, кому из них выпадет удача отправиться на военно-транспортном самолете в Прагу, чтобы осветить блистательный молниеносный захват десантниками стратегических центров Чехословакии. В приоткрытую дверь был виден именитый журналист чуть под хмельком, взиравший на мокрый пустой стакан. Он вспоминал о венгерских событиях и о «дне X» в Берлине:

– В сорок пятом мы передали им Прагу целенькую, как чайный сервиз... А они нам за это в душу плюнули... Этот Дубчек – тот еще субчик!..

Из отдела культуры, шумно растворив кабинет, вышел известный поэт, так же пылко и страстно, как выходил на сцену Политехнического музея. Высокий, худой, остроносый, с яркими мерцающими глазами, он развевал лапами модного пиджака, держал в сухощавых пальцах свернутый в трубочку лист бумаги. Картинно переставляя длинные ноги, зашагал по коридору, на секунду встретился с Коробейниковыми глазами, убедившись, что узнал. Исчез в соседнем кабинете, сопровождаемый испуганными и восторженными сотрудницами:

– «Танки идут по Праге, танки идут по правде...». Это великолепно, но ведь это нельзя печатать!..

– Он смел, как всякий истинный русский поэт!.. И нам всем позор, что мы не можем ему помочь!..

Коробейников шагал по коридорам, ни с кем не заговаривая. Но повсюду витала тончайшая пыльца информации, которая давала ему представление о происходящем. Словно в редакцию залетела огромная испуганная бабочка, билась крыльями, оставляя на руках и губах невесомую блестящую пудру.

Он приблизился к кабинету, где мощно и энергично билось сердце газеты, заставляя своими ударами вздрагивать зеленые электронные часы. Укрытый за кожаной дверью, огражденный от суетного коллектива, восседал заместитель главного редактора Стремжинский. Главный редактор, утомленный писательской известностью и непрерывными на вершине партийной власти интригами, редко появлялся в газете. Заезжал на час, чтобы рассеянно набросать беглый эскиз политики. Проскальзывал молчаливой тенью вдоль стен, неся перед собой толстую дымящуюся сигару. Слегка горбатый, с невидящими глазами, не здоровался с сотрудниками, словно это были встречные на тротуаре прохожие. Оставлял им вместо приветствия едкий запах пахучей сигары. Главным же двигателем газеты был его заместитель, трудолюбивый и мощный, как бык-землепашец. Тащил газету, словно литой и

тяжелый плуг, оставляя в общественной жизни дымящуюся борозду. К нему, исполненный дерзновенного замысла, направился Коробейников.

– Входите, – милостиво пропустила его секретарша, которая напоминала тропическую красавицу с картины Гогена.

Предварительно скрылась за священной дверью своего повелителя и вновь появилась с таинственной улыбкой на фиолетовых полинезийских губах.

Стремжинский сидел за столом, окруженный телефонами и фетишами в виде африканских статуэток, полудрагоценных камней, выточенных из янтаря безделушек, что давало повод сотрудникам называть его кабинет «янтарной комнатой». Навесил тяжелое, разгоряченное лицо над газетной полосой, двигая по строчкам недовольными глазами в блестящих очках, шевеля чуть вывернутыми бычьими губами. Вонзал авторучку в текст, сердито вышвыривая из набора не понравившееся слово, как выбрасывают кончиком ложки залетевшую в варенье мушку. Вписывал недостающие по смыслу фразы, громким вздохом осуждая недостаточную компетентность автора. Казалось, на хрупкую черно-белую графику полосы ложится резкий отпечаток его насупленных бровей, сильных складок у носа, выпуклого загорелого лба. Мельком взглянул на Коробейникова, указывая на кресло взмахом капельмейстера, продолжая этим взмахом управлять бегущими по газетной полосе словами и мыслями.

Коробейников присел, наблюдая жреческое священнодействие, допущенный в священный алтарь, где вместо идолов на стене висело электронное табло с указанием готовых к печатанию полос.

Ему нравился Стремжинский. Он испытывал к нему род благоговения. К его могучей энергии, неутомимому на изобретения разуму, который бурлил постоянными новациями, делал газету эксцентричной, неповторимой, отважной, что отличало ее от прочих, во многом унылых изданий. Нравились в Стремжинском сила, избыточность и звериная чуткость к опасностям, которые таились в рискованных материалах об экономике и культуре. Газета дразнила нервную интеллигенцию, провоцируя в ней всплески идей и эмоций, а затем направляла эти всплески в желоб обязательных, вмененных идеологией представлений. Газета питалась этими тонкими энергиями творчества, протеста и риска. Но если ее публикации возбуждали повышенную, не предусмотренную идеологией активность, она впрыскивала в очаги возбуждения тончайшие яды, гасила и умертвляла источник воспаления.

Громко, требовательно зазвенел один из телефонов, желтовато-белый, словно выточенный из кости, той же, из которой вытачивают бильярдные шары. На циферблате тускло светился серебряный государственный герб. Стремжинский сильным кулаком сжал трубку «кремлевки». Сердито поморщился специально для Коробейникова, показывая, как мешают дурацкие звонки серьезной работе.

– Ну как же, как же!.. ГЛАВПУР для нас – и мать родная и отец родной!.. Не прислушиваемся, а вслушиваемся в ваши советы!.. – бодро похохатывал Стремжинский и при этом специально для Коробейникова презрительно кривил вывернутые губы, выражая пренебрежение к говорившему. Этот говоривший мог быть всемогущим генералом, начальником Главного политического управления, кого волновали публикации на армейскую тему во фрондирующей газете в период военного кризиса. – Ну это понятно, что потери бывают даже во время учений, а здесь, по существу, фронтовая операция... – продолжал Стремжинский, – даем репортаж о десантниках, взявших под контроль аэропорты и центры связи...

В трубке неразборчиво рокотало. Стремжинский отвечал. Иногда отодвигал трубку далеко от уха, чтобы не слышать неумные и настойчивые замечания старого генерала. Закатывал глаза. Коробейников представлял, как в шлейфах дыма, жужжа винтами, садятся на бетонную полосу военные транспорты, открывается аппарель, и десантники в синих беретах высыпаются, как маковые семена. В кувырках, с автоматами бегут врассыпную от полосы,

занимая оборону у диспетчерской вышки, у радаров, у сигнальных огней. А из неба, среди черных мазков, продолжают снижаться тяжелые серо-серебряные машины.

– Обязательно пришлем материал на визу... Спасибо, что не забываете!.. – облегченно простился Стремжинский, шмякнул трубку и вновь погрузился в работу.

Коробейников был благодарен Стремжинскому. Тот прямо с улицы пригласил его в престижную газету, прочитав первый очерк о Сорочинской ярмарке. Возрождая гоголевские традиции, на огромном лугу был учинен красочный пышный торг во всем обилии и великолепии украинских медовых дынь, пламенных помидоров, полосатых черно-зеленых арбузов с малиновой брызгающей сердцевинкой, с молочными поросятами и парными телятами, с расписными керамическими блюдами и узорными глечиками, с карнавалом, балаганом, плясками под дудки и скрипки, с безудержной гульбой, с огромными кастрюлями огненного борща, с обжигающими чарками горилки, с поцелуями, толкотней, потасовками, когда два загулявших мужика метали друг в друга цветастые эмалированные тазы, а спящему пьянице положили на грудь огромного мокрого карася, а бедовые захмелевшие дивчины затормозили до полусмерти загулявшего бобыля, и он, Коробейников, в изнеможении и счастье лежал на истоптанном лугу под огромными звездами, глядя, как повсюду красно и волшебным полыхают костры и возносятся к небу дивные украинские песни. Этот нарядный, легко и счастливо написанный очерк восхитил Стремжинского. Он пригласил к себе никому не известного, молодого писателя и тут же безо всякой аттестации предложил ему место в газете. Этот щедрый поступок, безоглядное, несвойственное газетчикам доверие расположили Коробейникова к всевластному редактору. А тот, в свою очередь, чувствуя это благоговение, поощрял Коробейникова, оказывал ему знаки внимания.

Опять зазвонил телефон цвета моржовой кости с многозначительным гербом на циферблате. На этот раз голос Стремжинского был серьезен, почтителен, ответы продуманны и осторожны:

– Конечно, мы согласовываем все наши действия с Международным отделом ЦК... Я прекрасно представляю, как глубоко затронут чехословацкую компартию перестановки... Мы готовы выделить нескольких опытных журналистов в помощь вашим товарищам... У нас есть коллеги, которые прекрасно справятся с написанием меморандумов и обращений...

Собеседником, чей голос бархатно и властно рокотал в трубке, мог быть ответственный работник ЦК, быть может, сам глава Международного отдела, чье влияние в дни нарастающего кризиса многократно усиливалось. Стремжинский чувствовал субординацию, статусное превосходство партийного чина. Но при этом, как показалось Коробейникову, слегка бравировал ответами, словно позировал перед Коробейниковым, показывал ему свою внутреннюю независимость. И пока длился разговор, воображение рисовало металлический короб грузовика с зарешеченным окном, бледное, потрясенное лицо Дубчека. Рядом с ним по обе стороны два офицера КГБ сопровождают плененного лидера на аэродром, где специальный самолет готов к перелету в Москву.

Стремжинский, набывшись, правил, поблескивая очками. Коробейников, пользуясь минутами тишины, жадно всматривался, впитывал, старался понять доступный лишь посвященным культ редактирования. Загадочный ритуал сотворения газеты, к которому был причастен узкий круг жрецов. Немногие хранители знаний, чьи невнятные голоса время от времени рокотали в трубке, исходя из неведомого, недоступного чертога небожителей, в руках которых находилась не просто газета, но власть, теория, таинственное учение, позволявшее господствовать и управлять громадной страной и народом. Быть может, когда-нибудь и он, пройдя обучение в этой закрытой жреческой школе, умудренный, возвышаясь по лестнице знаний, восходя по невидимой спирали влияния, будет допущен в круг избранных. Станет сидеть в этом кабинете, взирать на мерцающее электронное табло с магическими цифрами, сжимать в кулаке белую костяную трубку, отрывая ее от телефона с гербом.

– Да, Георгий Макеевич. – Стремжинский вновь откликнулся на телефонный звонок. – Я заезжал к вам утром в Союз писателей, но не застал... Там, в пакете, все мои материалы... Конечно, мы готовы направить писателей в Прагу... Но, во-первых, куда там идет «горячий» процесс, это несвоевременно... И потом, вряд ли культура с радостью воспримет приостановку Пражской весны... Тут не всякий писатель сгодится... Я обязательно к вам заеду, и мы переговорим подробнее...

Коробейников догадался, что невидимый собеседник – это глава Союза писателей, управлявший могучей идеологической машиной литературы, куда, как шестерни, валы и колеса, были вставлены дарования известнейших литераторов, каждый из которых исповедовал свой символ веры, выражал интересы и чаяния своего поколения, относился к тому или иному литературному направлению и художественной школе. Ссорились, соперничали, сопротивлялись, казались себе суверенными и независимыми, но вольно или невольно служили единой политической воле, направленной на управление государством. И он, Коробейников, автор покуда единственной, наивно-романтической книги, напоминавшей своей нарядностью деревянную расписную игрушку, был тоже вставлен в эту невидимую мегамашину, занял в ней незаметное, но прочное место.

– Итак, чем обязан? – Стремжинский отложил исчерканную полосу и обратился к Коробейникову строго, но с едва заметной насмешкой. И, не дожидаясь ответа, заметил: – Ваш последний очерк о рыбной путине на Азовском море, несомненно, хорош. И хотя в нем избыток красот и недостаток социальности, но он эмоционален и заразителен. Именно это нужно сегодня. Пусть читатели знают, что, несмотря на чешские события и опасное ухудшение международной обстановки, жизнь продолжается. Люди ловят рыбу, пьют вино, любят женщин, как я, например, моих любовниц... – Он произнес это, бравируя своим жизнелюбием, свободой, способностью, несмотря на годы, пленять женщин, одаривая этой откровенностью Коробейникова. – Итак, зачем пожаловали?

– Решил вас побеспокоить. – Коробейников собрался с духом, уповая на свои особые, как ему казалось, отношения со Стремжинским. – Прошу послать меня в Прагу. Сделаю военно-политический репортаж.

– В Прагу? – Стремжинский изумленно снял очки и уставился на Коробейникова выпуклыми глазами, в которых, как у быка, краснели прожилки. – Хотите в Прагу?

– Мне кажется, я смогу уловить особый нерв происходящего и сделать серию ярких репортажей из Чехословакии.

– Можете уловить нерв? – Стремжинский преодолел изумление. С веселым, снисходительным любопытством рассматривал молодого, самонадеянного нахала, явившегося к нему в самый пик работы. – Знаете ли, нерв – это мало. Помимо этого надо иметь полномочия, иметь репутацию. Надо пользоваться доверием не только в газете, но и в ЦК, и в Министерстве обороны, и в КГБ. Вы ничего этого не имеете и поэтому не можете рассчитывать на опасную, ответственную и престижную поездку в Прагу. Так-то, мой друг! – Он видел, как самолюбиво вспыхнул Коробейников, как от огорчения у него побледнели губы. – Но это, разумеется, не значит, что подобная поездка не состоится в будущем. Поверьте, еще будет много кризисов и чрезвычайных ситуаций. На ваш век хватит!

– Я убежден, что уже сейчас мог бы справиться с самым ответственным заданием, – упрямо повторил Коробейников, заметил легкую досаду на лице Стремжинского.

– Ну хорошо. Во-первых, мною уже выбран человек в отделе, знающий тонкости восточноевропейской политики и работавший до этого в Праге. Уже подписана командировка военному корреспонденту, получившему орден за репортажи о «венгерском восстании». Эти люди прошли консультации в МИДе и в разведке. Их ждут в Праге. Обеспечат безопасность и немедленно включают в работу. А вы без году неделя в газете! Вы даже не член партии!

– Не обязательно быть членом партии, чтобы написать блестящий репортаж или очерк, – дерзко ответил Коробейников. – Бунин не был членом партии, но прекрасно справлялся с описанием природы, машин и человеческих душ.

Он уже пожалел о своей выходке. Ожидал, что хозяин кабинета выставит его, отыскивая для этого какую-нибудь язвительную нетерпеливую фразу. Но Стремжинский внимательно смотрел на него, играя очками, словно хотел направить ему в зрачок солнечный зайчик.

– Впрочем, я не совсем прав, – сказал он задумчиво, – вами заинтересовалась весьма влиятельная персона. Ваш очерк о молодых футурологах Новосибирска и материал о Городах будущего архитектора Шмелева привлекли внимание очень значительного человека...

Это польстило Коробейникову. Он не спрашивал, что за влиятельная персона заинтересовалась им. Какой-нибудь крупный партиец, курирующий газету. Быть может, секретарь ЦК или даже член политбюро. Он слабо представлял себе этих людей. Они казались ему туманными малоподвижными великанами, восседающими в горной пещере, куда вели невидимые лестницы из чопорного партийного дома на Старой площади. Такие высеченные из скалы статуи находились в Бамиане, в загадочных афганских горах. Оттуда они взирали каменными глазами на живую, суетно кипящую жизнь, изредка скупыми жестами каменных рук меняя ее направление. Встреча с этими гигантами была для него маловероятна. Едва ли он когда-нибудь окажется в афганском ущелье, где дремлют могучие исполины. Однако сообщение Стремжинского заинтриговало его, как если бы сулило неясные выгоды.

– Для журналиста или писателя, коим вы являетесь, очень важны отношения с властью. – Стремжинский продолжал внимательно рассматривать Коробейникова, будто заметил в нем нечто новое. – Эти отношения становятся для него решающими: либо ведут на вершину успеха, либо губят и опрокидывают. Однако власть неоднородна. Представлена различными группами, каждая из которых борется за влияние, окружает себя полезными людьми, отдаляет и угнетает вредных. Вас может выбрать и приблизить к себе группировка, которой вы в глубине души чужды. И тогда ваше взаимодействие с властью может кончиться трагично. От этого трудно предостеречь. Опыт приходит со временем, в результате мучительного взаимодействия...

Стремжинский не поучал, а, казалось, печально делился с Коробейниковым каким-то своим, трудно и опасно добытым опытом. Этот опыт был скрыт от Коробейникова. Он не мог им воспользоваться. Неукротимая энергия Стремжинского, его свобода и смелость, пренебрежение опасностями и почти безответственный риск были возможны до той поры, покуда за ним стоял тот или иной великан. Если он не заметит слабого жеста каменной великаньей руки или, не дай бог, неверно его истолкует, его накроет и расплющит громадная ладонь исполина.

Вновь раздался телефонный звонок. Стремжинский поднес трубку к уху, и лицо его умягчилось, почти умилилось, стало пластилиново-мягким, словно готово было отпечатать на себе незримый лик того, чей голос повелительно рокотал в телефоне.

– Так точно, Шарип Рашидович... Все сделаем, как обещали... Проблему Арала затронем не во вред, а на пользу...

Коробейников догадался, что незримым собеседником является могущественный узбек, чье смуглое, властно-благожелательное лицо величавого Будды в дни государственных праздников красовалось на транспарантах вместе с другими членами политбюро. Под огромными полотняными иконами, развешанными на фасаде ГУМа, двигались стальные колонны парада, кипела ликующая демонстрация.

Не дожидаясь завершения разговора, Коробейников поднялся и вышел. Его поход к Стремжинскому мог показаться неудачей, если бы не тайный намек, Коробейников и сам не знал, на что. Информация, словно туманная пыльца, витала в коридорах газеты. Он взглянул на свою ладонь, словно ожидал увидеть на ней отпечаток ускользнувшего мотылька.

Глава 4

Москва, горячая, смугло-душистая, в сухих накаленных фасадах, с размягченным асфальтом, брызгами фонтанов, запахом цветов на огромных клумбах, вокруг которых раскручивались блестящие спирали автомобильных потоков, – августовский город, словно огромное созревшее яблоко, откатился назад. Коробейников, сжимая руль новенького красного «москвича», мчался по синему, окруженному лесами и нивами Дмитровскому шоссе в глухую деревню, где поджидали его жена и дети. Машина, которую он купил после выхода первой книги, ставшая гордостью их молодой, со скромным достатком семьи, получила имя Строптивая Мариетта за капризный нрав, способность не заводиться, манеру терять во время езды болты и детали, долго тянуться на буксирном тросе за каким-нибудь грузовичком или трактором, покуда не затрещит, не застучит проснувшийся двигатель. Теперь же нарядная алая машина мчала его мимо деревень, палисадников, «золотых шаров», темно-зеленых, отягченных садов, разрушенных колоколен, желто-белых полей, в которых, словно птеродактиль, махал перепонками, пылил красный самоходный комбайн.

Деревня, где они купили избу, была заброшенной, вымирающей, среди бездорожья, пахучих бурьянов, на холмах, под которыми разливалось чудесное озеро, с волнистыми голубыми возвышенностями. Леса поднимались над лесами, бежали по сизым полям тени облаков, невидимая, скрытая среди восхитительных далей Троице-Сергиева лавра источала в небеса незримое сияние своих нимбов, куполов, кустистых крестов. Огромная покосившаяся изба с седыми венцами, крытая чешуйчатой дранкой, стала просторным благодатным убежищем для их семьи. Ее, похожую на старинный корабль под выгнутыми полотняными парусами, увидел Коробейников за полем черно-золотых подсолнухов, среди которых утонул его торопливый автомобиль.

Он сидел под березой, под ее длинными зелеными полотенцами, сквозь которые тихо светила изба. Прислонился затылком к теплему, корявому стволу, в котором невидимо двигались к вершине тихие земные соки, текли белыми ручьями в шелестящую гущу, где вдруг открывалась синь, застывшее снежное облако, росчерк мелькнувшей ласточки. Смотрел, как перед ним на лужайке играют дети. Пятилетняя Настенька в белом коротком платьице, с пушистыми пепельно-русыми волосами, в которых как цветок распустился розовый бант. И трехлетний Васенька, голопузый, со смешными, топчущими ногами, круглым смуглым лицом, на котором восторженно и наивно сияли темные глаза. Жена Валентина вдалеке, у колодца, стирала детское белье, лила в цветастый таз блестящую воду, плескала, терла, поворачивая милое загорелое лицо к березе. Издалека кивала, давала знать, что и она вместе с ними, в их забавах и играх, скоро присоединится к ним.

– А теперь мы положим в суп укроп. – Настенька сунула щепку в банку с водой, где кружились листики, камушки, кусочки коры. – Васенька, принеси мне, пожалуйста, укроп.

Дочь говорила тоном матери, когда та обращалась к ней самой, посылая в огород за укропом. Они с братом готовили обед, лили воду, ставили банку на перевернутую эмалированную кружку, изображавшую плиту.

– Сколько раз я должна тебе говорить! Принеси укроп! – строго повторила Настенька, указывая брату дальний угол лужайки, где предполагалась грядка с укропом.

Васенька захлопал глазами, послушно, обожая сестру, признавая ее превосходство, побежал по лужайке. Коробейников смотрел, как мелькают его крохотные розовые пятки, семян точеные ножки, двигаются на спине маленькие лопатки.

Васенька нащипал какую-то траву, вернулся обратно, протягивая сестре зеленый пучок, приговаривая:

– Укоп... Укоп...

Коробейников видел их любимые лица, в которых таинственно переливалось сходство то с ним, то с женой. Будто каждый поворот детской головы, каждая легкая тень от березы меняли пропорции этого сходства, и они с женой волшебным образом сливались в детях, словно отражения в бегущей воде.

Ему казалось, он знает день, когда жена зачала дочь. Среди негаснущих беломорских небес, млечной лазури безветренного прохладного моря, из которого поднимались розовые валуны, скользили зеленые, с прозрачными травами острова, низко летели утиные стаи, поднимая крыльями буруны. Лодка, стуча мотором, шла среди гранитных уступов, на днище лежали огромные, словно зеркала, уснувшие семги, грубо краснело обветренное лицо рыбака, и по узкой протоке плыли два глазированные алых олени, поворачивая к ладье темно-вишневые глаза. В эту белую ночь на деревянной кровати, на шуршащем сеннике, он обнимал ее, видя сквозь закрытые веки близкое жаркое лицо, распущенные темные космы, слыша стуки ее сердца, тихие вздохи и шепоты. Когда без сил лежали рядом, касаясь друг друга утомленными молодыми телами, дочь была уже в ней. Уже наливалась, словно завязь на яблоне, охваченная нежнейшими лепестками, среди призрачного света, окружавшего дышащее лоно.

– А теперь, Васенька, надо кушать. – Настя усаживала брата на траву, и тот послушно, повинаясь повелениям сестры, опускался на теплые стебли. – Ты хороший мальчик... Тебе надо кушать... Вырастешь большим и сильным. – Она совала щепку в банку с водой, подцепляла обрывок листика, подносила щепку к губам брата. – Открой рот... вот так... За маму, за папу...

Брат тарасил темные с перламутровым переливом глаза, верил, что это настоящий суп. Открывал рот, и щепка с зеленым листиком оказывалась у него на языке. Он жевал, лицо его начинало морщиться, глаза круглились. Он выплевывал горький листик одуванчика, пуская губами пузырь, а сестра недовольно качала головой.

– Ах какой ты плохой, Васенька... Никогда не вырастешь... Так и будешь маленьким, как воробей.

Эти ужасные пророчества сестры, горечь на губах делали Васеньку несчастным. На глазах его появились крупные блестящие слезы.

Коробейников знал, когда, в какой час московской ночи жена понесла сына. Их большая полупустая комната с мартовским запотевшим окном, за которым туманно светится город; с легким стуком среди талых снегов идет электричка, продергивая золотую стежку вагонов. На стене зеленоватое влажное отражение фонаря, в котором темнеет обломок каргопольской иконы – ангел с алым крылом. И он обнимает ее горячий затылок, вдыхает в ее растворенные губы свой жар, свой радостный стон, теряя свою плоть, свое имя, превращаясь в слепящий взрыв, словно кто-то огромный, шумный, в сверканье бушующих крыльев упал на них сверху, бил разноцветными перьями, а потом отпрянул, оставив по углам тающие отсветы. Их комната. Мартовская туманная ночь. Потрясенные, они лежат в открытой постели. На иконе чуть трепещет крыло каргопольского ангела.

Дети на лужайке продолжали свои бесконечные игры, и было неясно, они ли повторяют своими затеями взрослых, подглядев их житейские тревоги и хлопоты, или из наивной потешной игры с годами произрастают житейские драмы, случаются великие скорби и радости, вершатся погребения и свадьбы. Дети под березой совершали таинственный наивный обряд, играя в свою будущую судьбу, и зеленое белоствольное дерево накрывало их прозрачной тенью, обмахивало душистыми полотенцами веток.

– Если не хочешь есть кисель с молоком, тогда встанешь в угол, – строго предупреждала брата Настенька, и тот вынужден был чмокать губами перед пустой плошкой, где, по всей вероятности, находился кисель из черной смородины.

Коробейников помнил, как родилась дочь и он торопился встречать жену среди клейкой зелени благоухающих тополей, синих лужиц на пахучем асфальте, неся букет огненно-алых пионов. Она появилась на пороге, ликующая, гордая, держа в руках белый кокон, где в кружевах что-то невидимое розовело, дышало. Привез их обоих домой, где поджидала родня. Два рода сошлись в их весеннем, чисто прибранном и умытом доме. Окружили стеной просторную, застеленную покрывалом кровать, где жена осторожно развязывала розовые шелковые ленты, раскрывала белые пелены, разворачивая крохотное скорченное существо, которое сонно потягивалось, недовольно сжимало от света глаза, морщило маленькие розовые губы. Бабушка приблизилась к новорожденной, присела, наклонив сморщенное, подслеповатое лицо. Молча, долго рассматривала крохотную девочку. И все затаили дыхание, смотрели, как перетекают от одной к другой бестелесные, прозрачные волны света, словно род, отмирая в своей усталой, прожившей части переносит свои заветы и заповеди в народившуюся, еще бессловесную жизнь.

Настенька постелила на траву легкую тряпицу, укладывала брата.

— После обеда ты должен поспать... А если не будешь спать, я рассержусь... Папа приедет, он огорчится... Глазки закрыть, ручки под подушку...

Она гладила брата по голове, тот послушно закрывал глаза, клал пухлые руки под розовую щеку. Коробейников в своем прозрении видел две их судьбы, две неразлучные жизни, которые им предстоит прожить среди треволнений и бурь, любя друг друга, утешая, кидаясь друг другу на помощь.

Помнил, как радовался, узнав в предновогодние морозные дни, что родился сын. Москва была в розовых дымах, с блестящим снегом, с бегущими, окутанными паром прохожими. На елочном базаре он выбрал елку, скрутил ее упругие колючие ветки бечевкой. Замерзая, поскальзываясь, нес домой лесное дерево, думая, какое счастье, что он молод, отец двух детей, живы мама и бабушка, на письменном столе лежит недописанный красивый рассказ, и сын родился, когда в рассказе по солнечной пыльной дорожке мчится буйный табун. Жена появилась в доме, внося укутанного сына, когда уже мерцала драгоценная елка, покачивались на ней стеклянные петухи и рыбы, переливалась на вершине хрупкая серебряная звезда. Жена тихо ахнула, поднесла сына к елке. Они стояли среди волшебных мерцаний, сладких смоляных ароматов, и листы с рассказом белели на столе, будто кто-то невидимый записывал чудесное явление жены и сына.

— А теперь, Васенька, пойдем, я покажу тебе клад...

И они вдвоем, взявшись за руки, побежали в заросший уголок палисадника, где в кустах была вырыта укромная ямка, выложена изнутри фарфоровыми черепками и камушками и на дне ее лежала мертвая синяя стрекоза.

Подошла жена Валентина, положила ему на лоб большую, прохладную от колодезной воды руку, и он почувствовал, как пахнет теплом и солнцем ее линиярое, полупрозрачное платье, как сквозь легкую ткань движется сильное чудное тело.

— Я знаю, о чем ты думал.

— О чем?

— О том же, о чем и я.

Ее рука лежала у него на лбу. Береза ровно и трепетно шелестела мелкой, от ветреной вершины до подножия листвою. За цветочной клумбой розовел бант дочери и блестела, словно черное стекло, голова сына. И он боялся пошевелинуться, благоговей перед восхитительным бытием, которое окружало его любимыми, близкими, и ветхим деревом старой избы, и летающей перед лицом бахромой из березовых листьев, и хотел, чтобы это бытие не кончалось.

Он и не кончался, этот медленный, тягучий, как мед, смугло-золотистый день, в котором уже сквозила близкая осень, давая знать о себе желтой гирляндой в березе, тучными,

опущенными головами подсолнухов, пожухлыми огородами с пучками яркой и пряной пижмы, хрустальной высотой, в которой высоко и прозрачно застыло перистое облако. Все вместе они ходили к озеру на травяной мыс, где росли малиновые, с клейкими соцветиями цветы, которые они нарекли «богатырскими», представляя, что когда-то сквозь заросли этих цветов ехали на могучих конях былинные богатыри. Смотрели в солнечную, прозрачно-зеленоватую воду, где мелькали рыбки, и Васенька все не мог разглядеть, где же на озере «белеет парус одинокий», а Настенька радостно кричала: «Вижу!.. Вижу!..» – хотя никакого паруса не было, а летели по воде далекие вспышки ветра. Вернувшись домой, вчетвером стояли в тени избы, глядя, как над коньком крыши пылает синева и в ней перелетают прозрачные, словно пушистые звезды, семена иван-чая, и жена говорила, что в сердцевине опущенного семечка находится крохотный портретик Насти и Васи и они летят к Боженке, который хочет на них посмотреть. Разводили под березой маленький старинный самовар с рогатым краном, с гербами и вензелями, кидая в дымящий, едко пахнущий зев сосновые шишки. Коробейников, приподняв трубу, что есть силы дул в глубину самовара, выдувая из дырчатого донца сыпучие искры, покуда не вспыхивал, пробивая дымную пробку, жаркий свистящий огонь. Дети хватали отлетающий дым, а он, закрывая слезящиеся глаза, думал: как чудесно, что этот фамильный бабушкин самоварчик, собиравший вокруг себя исчезнувших стариков, теперь служит им и будет служить другим, неродившимся. Перед сном жена ставила в цветастый таз с нагретой за день водой по очереди Васю и Настю, ополаскивала из кувшина, и они стояли, как фарфоровые статуэтки, точеные и совершенные, блестя от воды.

В сумеречной, насуспенной избе с рублеными венцами, торчащими из пазов ключьями мха, с нависшими черными потолками, где висело среди глазастых сучков старинное кольцо от несуществующей зыбки, они укладывали детей. Из-под большого одеяла выглядывали два близких мутно-белых личика, нетерпеливо ожидающих обещанную сказку. Коробейников дорожил этой чудесной возможностью усесться у них в ногах, прихватив сквозь одеяло чью-то крохотную стопу. Глядя, как мерцает первыми звездами оконце, фантазировал, придумывал одну бесконечную, длящуюся из вечера в вечер сказку все с теми же персонажами, не оставлявшими равнодушными слушателей, среди которых была и жена.

– Жили-были маленький мальчик Васенька и маленькая девочка Настенька, его сестрица... – Коробейников чувствовал, как вытянулись на тонких шейках две детские головы, застывая от сладостных предвкушений, и жена в темноте замерла с остановившейся полуулыбкой. – И жила у них большая добрая лошадь по имени Петр. – Ему стало смешно от этого лошадиного, попавшего на язык имени, но он не подал виду и продолжал со всей серьезностью: – И вот однажды, когда стало совсем темно и все люди улеглись спать, Васенька сел на лошадь Петра, и она, разбежавшись по полю, взлетела в небо. Развевая хвост, понесла Васеньку под самыми звездами, так что не стало видно земли...

Сын перестал дышать, со страхом и сладостью представляя себя несущимся на поднебесной лошади, у которой ветер свистел в гриве, продергивая сквозь нее длинные серебряные нити звезд.

– Вдруг навстречу им вылетел страшный дракон с девятью головами, огненным языком и длинными отточенными зубами. Набросился на лошадь и мальчика Васю, обвился вокруг и стал жалить, кусать, обжигать огнем, стараясь затащить смелого наездника в глубокую бездонную пещеру неба, где он обитал...

Коробейников чувствовал, как испуганно замерли под одеялом сын и дочь, и в руке у него онемела маленькая детская пятка. Жена в сумерках молча волновалась, не слишком ли ужасна сказка, не лишатся ли дети сна. Это было предостережением Коробейникову, требующим немедленно изменить сюжет.

– Девочка Настенька видела с земли, как сражаются в небе злой дракон и добрая лошадь Петр. Она знала, что Петр любит вкусную зеленую траву. Сорвала на лужайке под

березой самый свежий душистый пучок и подкинула вверх, чтобы лошадь Петр съела эту сладкую траву...

Дочь тихо засмеялась, понимая, что близится счастливый конец, и это она своим смелым поступком вызволяет из беды любимого брата.

– Лошадь Петр съела на лету пучок волшебной травы, стала сильной, непобедимой. Брыкнула страшного и злого дракона, так что он кувырком полетел назад в свою бездонную пещеру и там сгорел, как щепка в самоваре. А смелый Васенька и добрая лошадь Петр опустились на лужайку под березу, где ждала их Настенька, и пошли домой спать...

Сын и дочь ликовали, ерзали, крутили головой, восхищаясь своим поведением в сказке, своей победой над дурным и противным драконом. Пробовали еще вертеться, тузить друг друга ногами, но мать строго разделила их, раскатила в разные стороны просторной кровати, приказав: «Глазки закрыть, руки под подушку...» И это означало, что оставалось только одно – заснуть.

Выходя из избы в сени, придерживая тяжелую скрипучую дверь, Коробейников подумал, что, быть может, через множество лет, когда его и жены уже не будет на свете, а дети проживут громадные жизни, погрузившись в тусклую оторопь старости, вдруг в сумеречной и печальной памяти что-то тихо и нежно вспыхнет. Вспомнят эту теплую, пахнущую вялыми травами избу, широкую кровать под деревянным глазастым потолком, мать и отца, сидящих у них в ногах, и отец рассказывает сказку про какую-то лошадь Петра, и все они любят друг друга.

В сенях, не зажигая света, он нащупал приставную лестницу. Хватая отшлифованные перекладки, чувствуя дрожание старых иссохших слег, поднялся на высокий чердак в укрытие, где спасался от детских воплей, окриков жены, нескончаемой суматохи, что царила днем в их бревенчатом ветхом жилище. Здесь, под чешуйчатым, из осинового дранки скатом, был расположен его жесткий топчан. Стоял самодельный, из грубых досок стол с портативной печатной машинкой «Рейн-металл», чья старомодная эстетика, золотая по черному немецкая надпись возвращали воображение в благословенный XIX век, придумавший для благополучного и благопристойного человека множество хитроумных приспособлений и машин.

Среди уступов сухого чердачного короба, пахнущего тихим прахом исчезнувшей жизни, остатками банных веников, травяных пучков, развалившихся плетеных корзин, стояли белые подрамники, подаренные другом, архитектором-футурологом Шмелевым. Его Город будущего. Фантастический проект цивилизации XXI века, который напоминал мифологические образы древности, ослепительную мечту фантастов и провидцев, и который Шмелев стремился выставить на международном форуме в Осаке. Здесь, на белых щитах, эти города-башни возвышались среди сибирских болот и полярных снегов. Взлетали ввысь из азиатских барханов и ущелий Кавказа. Напоминали громадные первобытные хвощи и папоротники, гигантские заостренные сталактиты. Их выющиеся гибкие стебли подбирались к океанской кромке, ныряли в пучину, образуя подводные, похожие на стеклянные пузыри поселения. Их стремительные побеги устремлялись в космос, цепляясь за орбиты, превращались в космических бабочек, в пчелиные, облепившие планету рои, в громадные, построенные на Венере и Марсе термитники. Яростное перо и романтическая кисть Шмелева придавали им сходство с громадными грибами, с прозрачными медузами, с выющимися водорослями, с зонтичными соцветиями и одуванчиками. Ветер налетал на одуванчик, срывал крылатые семена, разносил по бескрайним пространствам страны, а потом крохотные пушинки вновь собирались в фантастические цветы, переноса жизнь из промышленных центров в пустыни и льды, где люди добывали золото, нефть и уран, строили космодромы и станции космической связи.

Коробейников не устал рассматривать эти захватывающие фантазии, в которых его другу рисовалась советская цивилизация грядущего века, когда скажутся плоды грандиозных трудов и лишений и красная империя Советов во искупление всех трат распространится в беспредельный космос, одолеет смерть, займется спасением умирающих, чахнувших галактик.

Тут же, у подножия этих пространных высоких подрамников, составляющих целую стену, была разложена коллекция крестьянской утвари. Изношенные инструменты остались от прежнего хозяина, одинокого, брошенного детьми старика, от кого Коробейников получил во владение избу. Здесь лежал допотопный плотницкий циркуль, похожий на тот, которым Колумб мерил расстояние на глобусе, что придавало избе еще большее сходство с кораблем, плывущим сквозь океаны времен. Чугунные пузатые гирьки соседствовали с заржавленными весами, чья стрелка покачивалась между медными позеленевшими чашами, на которые когда-то сыпалось золотое зерно, плюхалась сочная глазастая рыбина, шмякал ломоть отекающих медом сот или лежала окровавленная свиная нога. В деревянной, источенной жучками ступе торчал окованный железом пестик, стояли прислоненные к стене деревянные лопаты, на которых из печи вытаскивали горячие парные ковриги. Ступа повергала в мистический ужас детей, полагавших, что ночами в ней летает Баба-яга. Расколотое корыто помнило удары куриных клювов, красный трепет петушиных гребней, шершавые телячьи языки и мокрые хрюкающие пороссячи пятки. Деревянная дуга с полустертым цветком грезилась о глазастой лошадиной голове и развеянной гриве. Медный, глухо звякающий бубенец взывал к несуществующей корове, которая, облепленная сонными слепнями, колыхая огромным желто-розовым выменем, брела на закате в деревню. Среди этой коллекции находились подковы, кованые, с большими шляпками гвозди, скребки, молотки, ухваты – все, что когда-то служило молодым предприимчивым обитателям крестьянского дома: строгало бревна, пекло пироги, косило луга, рубило смоляные поленья, шило мягкие эластичные кожи, ткало цветастые половики, валяло грубые толстоногие валенки. Коробейников относился к инструментам с благоговением, веря, что волшебным словом или чудесным волшебованием они могут ожить, вызвать из небытия исчезнувший крестьянский уклад, и тогда на опустелых улицах деревни вновь взревет гармония, взвоятся в ночное небо неистовые шальные песни и за озером, на развалившейся колокольне, зазвонят колокола.

Коробейников лежал на топчане, среди Городов будущего, крестьянских прялок и кос. Испытывал полноту и бесценность своей молодой бесконечной жизни, которая неуклонно, в творчестве и познании раскрывалась в мир, как если бы кто-то любящий, благой и все- сильный открывал ему бесконечно расширяющуюся сферу, одаривая драгоценным опытом, осуществляя загадочный, сокрытый до времени замысел.

Услышал, как в сенях в темноте тихо скрипнула дверь. Струнно задрожала лестница. Жена, усыпив детей, ополоснув посуду, поднималась к нему. Чутким мужским слухом он улавливал упругое дрожание лестницы. Она возникла в сумраке из-за полога, в белой нижней сорочке. Он различал белые бретельки на ее голых плечах, длинные босые ноги, смуглый вырез груди, из которого исходило едва видимое теплое свечение. Подошла и легла рядом с ним на топчан. Сенник расступился и зашуршал, принимая ее большое сильное тело. Подушка, наполненная легкой благоухающей травой, опустилась под ее затылком, накрытая жаркими густыми волосами.

– Спят? – спросил он, чувствуя рядом ее округлое душистое плечо.

– Спят... Мне вдруг показалось, что у Васеньки жар. Но, кажется, нет, померещилось...

– Какая вкусная молодая картошка! А ты все сомневалась, сажать – не сажать...

– А как вела себя Строптивая Мариетта? У нее был очень заносчивый вид.

– Я ее хорошенько помыл. Сменил в фаре перегоревшую лампочку. И она вела себя примерно, как настоящая леди.

– Как я рада, Мишенька, что ты вернулся!

Он видел чердачное оконце, где брезжили, сочились мелкие частые звезды и что-то таилось, вглядывалось, прислушивалось из огромного прохладного неба, от которого они были отделены деревянным коробом крыши. Это звездное небо с душистым холодным воздухом, где бесшумно скользнула сова и недвижно чернела береза, не вторгалось на их чердак. Потеснилось, уступая им заповедное, крытое деревянным шатром пространство.

– Те дни, когда тебя нет, – говорила жена, – когда ты в поездках, я так тревожусь. Места не нахожу... Где ты? С кем? Не случилось ли что? Ни обидел ли кто тебя?.. А вдруг тебе повстречался какой-нибудь злой человек? Или какая-нибудь коварная красавица?.. И тогда я молюсь. Поворачиваюсь лицом туда, куда ты улетел, на запад или на восток. Сердце мое само собой открывается, и оттуда словно исходит луч. Отыскиваю тебя вдалеке за горами-морями. Напоминаю о себе, окружаю светом, заслоняю от зла... Ты чувствуешь, как я молюсь о тебе?..

Он чувствовал этот луч, когда в реве, сбрасывая с крыльев солнечную стеклянную бурю, взмывал его самолет. На секунду, во власти слепых и свирепых сил, как крохотная беззащитная песчинка, он вдруг ощущал, что его касается спасительная и благая сила – ее молитва, луч, в котором летела громадная сияющая машина. На стройке, когда в огромном коробе станции, среди бессчетных труб и приборов, пускалась турбина, и в асбестовом кожухе, словно в белом мучнистом коконе, начинала трепетать проснувшаяся громадная бабочка, оживали циферблаты и стрелки, наладчик прикладывал к кожуху длинную слуховую трубу, и от станции в ночь к таежным буровым и поселкам бежали бриллиантовые реки огней, он вдруг улавливал нежное прикосновение, чудесное дуновение – ее пальцы у себя на висках. Вечерами в гостиничном номере, когда из ресторана неслась манящая музыка, мимо дверей по коридору сладко и призывно стучали женские каблуки, раздавался волнующий, зовущий, доступный смех, он чувствовал, как ее невидимая рука касалась его глаз, снимала с их поволоку, и он, засыпая, целовал ее невидимую прохладную руку.

– Целыми днями стирка, плита... Дети хворают, капризничают... Тревоги, заботы, бессонные ночи... Где мое рисование? Где мой театр? Где мои эскизы к костюмам и декорациям?.. Один быт, одна непрерывная, непроглядная круговерть. Правильно ты меня как-то назвал – «чайная баба из цветных лоскутьев»... Но вдруг среди этих беспросветных хлопот, дневных и ночных тревог Настенька ко мне подойдет, обнимет своей чудной ручкой, глянет сияющими глазами... Или Васенька вдруг улыбнется своей чарующей улыбочкой... Вот и награда мне за все мои труды и бессонные ночи. Им передала я мои краски, мои театральные спектакли, мои мечты и фантазии...

Он помнил, как она раскрывала мольберт среди красных в немеркнущем свете карельских сосняков. Как сидела с этюдником у бирюзового драгоценного озера, над которым летела гагара, роняя летучую каплю, и на водах расходились сонные заколдованные круги. Она рисовала его портрет, когда он писал рассказ в медовом свете керосиновой лампы, на дощатой стене висели сухие щучьи головы, в оконце беззвучно танцевали паучки и мерцало стеклянное озеро. Он поражался в ней чутким угадыванием его невысказанных желаний и мыслей. Ее колдовским, языческим обращением к природе, где она ловила знамения и приметы, неуловимые знаки на облаках и на водах, словно постоянно отгадывала загадку среди вечерних зорь, туманного месяца, плещущих в утреннем озере серебряных рыб. Там, в карельских лесах, где он работал лесником, она отыскала его, пробираясь, как в сказке, через чащобы и реки в его потаенную лесную избушку.

– Пусть я стала чайной бабой из цветных лоскутьев, но я мою жизнь посвятила тебе. Ты художник, тебе нужна свобода, ты ищешь перемен, новых впечатлений. В своей первой книге ты изобразил меня, описал наши путешествия, нашу чудесную любовь. Мне говорили: «Боже, как замечательно и возвышенно он тебя описал!» Но я ведь знаю, ты станешь искать

другие образы, иные впечатления... А вдруг я тебе наскучу? Вдруг ты увлечешься другой?.. Наш с тобой мир такой хрупкий, такой уязвимый, накрыт этим сухим деревянным коробом, за которым притаились опасности, стерегут нас беды... Как нам уберечь наш маленький чудный мир?..

Он чувствовал ее страхи. Высоко, среди звезд, невидимый, шел ночной бомбардировщик. Металлический звук накрывал землю звенящим шатром, словно заворачивал ее в шелестящую фольгу. Легкий, всепроникающий звук просочился сквозь ветхую крышу, поместил их в незримый саркофаг, где они лежали, прижавшись друг к другу. Опустился ниже сквозь потолок в бревенчатую избу, где спали дети. И все они на минуту оказались уловленными этим металлическим звуком, захвачены в непроницаемый кокон, куда их тонко и искусно запаляли. Звук отлетал. Темная тень высотной машины, перечеркивая звезды, смещалась за леса и озера.

– Наш дом, наши милые дети, наша любовь – мы живем на светлом островке, где присутствуют добро, нежность, бережение друг друга. Мы словно очерчены невидимой линией, волшебным кругом, за который не могут перешагнуть напасти и беды. Но они рядом, за этим кругом, я чувствую их присутствие. Ждут, стерегут. Одно наше неверное движение, неосторожная мысль – и круг прорвется, они кинутся на нас, как оскаленные злые волки. Мы должны так беречь этот чудный островок, так хранить его. Каждый вечер я молюсь, чтобы добрая сила нас сберегла и спасла. Ты тоже молись, я прошу...

Он чувствовал ее горячее плечо, исходящую от нее жаркую, нежную, восхитительную силу, обнимавшую его. Чувствовал ее сберегающую женственность и свою от нее зависимость. Был благодарен ей за эту зависимость, преклонялся перед ней. Волшебный круг света среди черного неразличимого мира, где резвились их дети, а они любовались их точеными, перламутровыми телами, на которые из кувшина летела струя воды, – этот серебристый прозрачный круг был очерчен ее любящей охраняющей силой, и она при всей своей незащитности обладала недоступным ему могуществом, удерживающим и не пускающим зло. Он любил ее, благоговел перед ней, признавал ее над собой превосходство.

– Тогда, в Карелии, когда мы с тобой познакомились и уже стали сужеными, и нам казалось, что навечно поселились в этой сторожке среди красных заиндевелых сосняков, ледяных, сине-зеленых на закате озер, трескучих морозов, и ты являлся в полушубке, застывший, со своим рюкзаком и ружьем, и ставил в сених широкие малиновые лыжи, похожие на заостренные лодки, – ты помнишь, мы вышли ночью под звезды? Ты описал этот вечер в своей книге. Дорога была накатана, в ночном таинственном блеске окружена высокими черными елями, над которыми ослепительно, грозно, прекрасно сияли огромные зимние звезды. Меня охватило такое счастье, такое ликование, что вот мы с тобой молодые, любящие, невидимые никому, кроме этих громадных переливающихся звезд, шагаем по дивной дороге. Мы избраны, нам во славу зажжены эти торжественные звезды, нам уготовано такое блаженство, такая чудесная судьба. Я все старалась заглянуть в твоё лицо, чувствуешь ли ты то же самое. Но ты шел впереди, большой, в валенках, в своем тулупе и косматой шапке, настоящий лесник, и я старалась поспеть за тобой, не поскользнуться на этой гладкой дороге и так любила тебя. Ты шел все быстрее, дорога поднималась в гору, я начала отставать от тебя. Звезды летели над елками как длинные яркие брызги, залетая за черные остроконечные вершины. Ты уходил вперед все дальше, думая о чем-то своем, быть может, о рассказе, который лежал недописанный на шатком тесовом столике возле печки. Ты забыл обо мне. Я подумала, что вдруг так и будет в жизни. Ты уйдешь вперед своим неповторимым путем, все быстрее и быстрее, туда, куда указал тебе твой гений, позвал тебя твой ангел-хранитель, а я останусь. Мне стало больно, страшно. Слезы выступили на глазах, звезды превратились в сплошной слепящий слиток. Ты почувствовал мою боль и беду. Остановился. Вернулся ко мне. Целовал меня в мокрые глаза. Мы медленно, взявшись за руки, брели по пустынной дороге. Было

ужасно холодно. Звезды куда-то скрылись, на небе была тусклая мгла. И я подумала, что вот так же под старость, прожив жизнь, уставшие, без сил, мы будем шагать в туманных мгlistых сумерках, застывая и немея. Впереди, среди елок, засветило, замерцало. Дорога заблестела, и нам навстречу выкатил автобус, старый, железный, похрустывая своим промерзшим коробом. Ты помахал. Автобус остановился. Шофер пустил нас внутрь. Там не было никого, только продырявленные сиденья, застывшие непрозрачные стекла, спина шофера, сутулая, с поднятым воротником. Мы катили в промерзшем автобусе, среди ледяного железа, скрипов, стуков, слабых поблескиваний на промороженных стеклах. Я подумала, что этот автобус, как челн, везет нас в последний путь – туда, откуда мы вышли. Водитель, как древний перевозчик, переправляет нас через реку жизни в царство теней и тьмы. И в этом – печальный неодолимый закон, под который мы с тобой, как миллионы других, подпали и следуем его неукоснительной воле. Ты описал в своей книге эту притчу о нас...

Он помнил, как она впервые рассказала ему притчу. Как испугался он ее всеведения, печального знания, какое таилось в ней, делало мнимым и временным ее веселую энергию, неутомимую бодрость, ее прелесть и красоту. Эта печаль была и о нем. Обрекала его творческую неукротимую страсть, честолобивый азарт, неутолимое познание. неизбежно они обнаружат тщету, незавершенный поиск, разочарование и бессилие. Эта печаль была и о детях, чья нежность и чудная сверкающая краса в конце концов неизбежно померкнут, приблизятся к роковому пределу и канут, превратившись в комочки тусклого праха. Это горькое верование, безнадежное, как античный миф о смерти, говорило, что силы ее не бесконечны, круг, который она очертила, слаб и хрупок, готов разомкнуться, пустить в их драгоценный наивный мир свору оскаленных неистовых чудищ, и она нуждается в его поддержке и помощи.

– А я тебе поведаю другую притчу, – сказал он, осторожно накладывая руку ей на глаза, чувствуя, как щекотят ладонь ее ресницы, словно пойманная бесшумная бабочка. – Когда мы купили эту избу, я впервые сюда приехал, переночевал в нетопленном заиндевелом срубе, едва не угорел от старицовой дымящей печурки, а утром вышел на снег и ахнул. Солнечная белизна до горизонта, в бочке блестящий лед, береза, огромная, белая, с прозрачной розовой кроной, сквозь которую лазурь, морозная свежесть, мерцающие снежинки. Я восхитился: это моя береза, я ее хозяин, она принадлежит мне вместе с чудесной синевою, мерцающим инеем, летящей в вышине хрупкой длиннохвостой сорокой. Это обладание березой было так чудесно, такое во мне было счастливое могущество, что я подошел, обнял ее и поцеловал холодную голубоватую кору. Но те годы, что мы живем здесь, когда родились и растут наши дети, и мы ставили их колыбельки под ее зеленые ветви, и бабушка моя сидела под березой в креслице и дремала со своей бесконечной думой, и наши ночные объятия и ласки, за которыми сквозь оконце наблюдала береза, и мои зимние сидения в избе перед горящей печкой, с рассыпанными по столу листами бумаги, когда я выходил из жаркого воздуха в морозную ночь, и в березе, как в люстре, текли и переливались звезды, колыхался серебряный ковш, крохотная драгоценная звездочка перетекала через тонкую веточку, я вдруг понял, что не береза моя, а я березин. Я принадлежу ей, нахожусь в ее волшебной власти. Она была здесь до меня и будет после меня. Приняла меня, окружила своими соками, своей листвой, звездами, своей бессловесной жизнью, и когда я исчезну, то войду в нее, облачусь ее берестой, стану капелькой ее бегущего сладкого сока, ее клейким листочком, бриллиантовой звездочкой, перетекающей через ломкую ветку.

Наша русская природа примет нас, когда мы утратим временное человеческое обличье, превратит нас в дождь, в одуванчик, в малую льдинку.

Она закрыла глаза, и он больше не чувствовал ладонью трепет ее ресниц. Замерла, словно проникалась услышанным. Медленно, едва касаясь, он повел ладонью над ее лицом. Как слепец, легчайшими прикосновениями угадывал ее разлетающиеся шелковистые брови.

Широкий, с кустистыми волосами лоб. Утонченную длинную переносицу с тонкими, чуть дышащими ноздрями. Выпуклые гладкие скулы, от которых исходил едва ощутимый жар. Мягкие пухлые губы, чей рисунок повторял прожилками нежный отпечаток листка. Округлый, с крохотной лункой, подбородок, под которым начиналась теплая длинная шея. Его ладонь была зрячей. Отражала ее лицо. Несла в себе таинственную фотографию, созданную теплым и прохладным излучением ее неподвижного чуткого лица.

Его ладонь скользнула вдоль шеи, где бился пугливый родничок, выталкивая беззвучные фонтанчики тепла. Огладила круглое плечо с шелковой свободной бретелькой, приспустив ее, пробираясь в теплую мягкую глубину, где покоились располневшие после рождения детей, тяжелые, чуть влажные груди. Ее живот под рубахой слабо вздымался, и ладонь ощутила прелестную выемку пупка, жесткий плотный треугольник лобка, источавший жар, который сменился прохладной чистотой ее округлых глазированных бедер. Колени ее были сжаты, и он осторожно проник между ними шевелящимися пальцами. Она была неподвижна, безропотна, покорна ему, подвластна его прикосновениям, и он каждый раз изумлялся ее доступности, чудесной пленительной красоте ее невидимого во тьме, только ему одному принадлежащего тела.

Оконце мерцало ночным таинственным светом, слабо озаряя белые подрамники с фантастическими городами и космическими пернатыми существами. Близкая береза придвинулась к стеклу, и казалось, в глубине недвижных ветвей кто-то замер, молча притаился, прижал к бокам длинные крылья, смотрит на них сквозь оконце немигающими глазами.

Он целовал ее колени, и она, как всегда, сначала их пугливо сдавила, а потом, уступая, раздвинула. Целовал дышащий живот, проникая языком в сладостную лунку пупка, и она, как всегда, мягко, бесшумно вздрогнула. Ласкал губами ее груди, чувствуя, как они тяжелеют, наливаются силой, теплеют, бурно вздымаются, и соски, сжатые его ртом, восхитительно твердеют, расширяя губы.

Он властвовал над ней. Она принадлежала ему. Он будил поцелуями ее дремлющее тело, которое начинало просыпаться в каждой своей клеточке, волновалось, жарко дышало. А он начинал исчезать, лишался своего превосходства, терял свои очертания. Она увеличивалась, росла, становилась огромней его. Расступалась, погружала его в свою темную жаркую глубину, в душную черно-красную бездну. Смыкалась над ним. Он был окружен ею, был в ней. Покидал этот мир, счастливо и страстно стремился туда, где кончалось сознание, ощущение своей отдельности, пропадали все мысли и чувства, кроме жадного, страстного, слепого стремления в раскаленную влекущую тьму. И когда в своем погружении им был достигнут предел, за которым обрывалось бытие и приблизилось желанное запредельное чудо, оконце в светелке бесшумно и ослепительно лопнуло. Сверкающий бурный блеск проник на чердак под крышу, накрыл их тугими бьющими крылами, словно серебряный петух, сорвавшись с березы, влетел в светелку, яростно бил и клевал, а потом отпрянул, разметав по углам завитки рассыпанных перьев.

– Боже мой, – чуть слышно произнесла она.

Он лежал бездыханный. Без лица, без мыслей, без имени. Чистый и белый, как пустое зимнее поле.

Жена ушла, утомленно спускаясь вниз по дрожащей лестнице. Скрипнула дверь в избу. И он остался один на дощатом ложе, где сенник еще слабо звенел, храня длинную теплую выемку от ее тела.

Это были удивительные, странные мгновения между явью и сном. В его безвольный, опустошенный разум, как в расплесканный до дна водоем, начинали стекаться разбрызганные образы, просачиваться струйки чувств, падать тихие капли видений, некоторые из которых не принадлежали его опыту, были не его, а из какой-то иной, с ним не связанной жизни. Словно потеряв хозяина, витали в пространстве, не имели вместилища и, воспользовавшись

мгновенной пустотой его сознания, торопливо в него залетали. Это могли быть образы из чьей-то умершей памяти, не нашедшие места в бестелесном сонмище окружавшей землю ноосферы. Или прорвавшееся в его жизнь, мимолетное, как элементарная частица, послание умершего предка, записанное на спираль генетического кода, притаившееся в одной из бесчисленных клеточек мозга. Или разум, лишенный изнурительной воли, выпавший из трехмерного плена, из неумолимо в одну сторону направленного времени, вдруг начинал существовать по иным законам, провидел будущее, забегал вперед, оказываясь в том мгновении, которое еще предстояло прожить.

Он засыпал, удерживая последние секунды исчезающей яви, среди которой возникла серая, незавершенная дуга моста над огромным разливом реки. Зонтичный сочный цветок с зеленым слитком жука и плывущая, в солнце, корова. Стремжинский, беззвучно шевелящий выпуклыми губами, ударяющий пером в черно-белый газетный лист. Какие-то туманные, в песчаной горе, великаны, один подле другого, влиявшие на его жизнь и судьбу. Великаны вдруг выплыли из рыжего тумана, обрели свою громадную плоть, резные огромные пальцы, пустые невидящие глаза, и он, прижавшись к иллюминатору, в разящем блеске винтов мчался в афганском ущелье Бамиан мимо плоских ноздрей громадной буддийской статуи, видел ее раздвинутый в улыбке рот, горчичного цвета лоб. От великаньего лица, навстречу вертолету ударила струя пулемета, прорезая обшивку, и он ощутил жуткую во сне достоверность падения.

Но уже спал, уже клубились в нем, подобно дыму, неразличимые видения, бесконечные завихрения, таинственные облака, словно глаза, повернутые вовнутрь, начинали видеть брожение распавшихся миров, недоступных зрячему разуму.

Проснулся от грома и ужаса. Весь чердак был в жутком багровом свете. Оконце пламенело и плавилось. Огненно-красное, раскаленное, в страшном грохоте, пульсировало небо. За лесами, где была Москва, рвались ядерные смертоносные взрывы. Волны ядовитого пламени летели из-за горизонта, накрывая избу. И жуткая безнадежная мысль – кинуться вниз, схватить детей, мчаться куда-нибудь прочь от истребляющего огня.

Очнулся. Небо было в ранней заре. Над озером клубился летучий розовый пар. По деревенской улице мимо окон шумно катил самоходный комбайн – косить соседнее поле. Коробейников стоял с колотящимся сердцем. Смотрел, как в тумане, розовая на заре, летит чайка.

Глава 5

Когда на время прерывались яростные странствия, огромные, как вдох и выдох, командировки, и Коробейников усаживался в маленьком домашнем кабинете над листами бумаги, стрекоча портативной машинкой «Рейнметалл», своей эстетикой напоминавшей наивные изделия начала века, и весь день проходил в писании, до вечерних сумерек, до сладкого изнеможения, – тогда он спускался к своему красному «москвичу», заводил привередливый, непослушный механизм и катил из Текстильщиков, через всю Москву, в центр, на улицу Герцена, в Дом литераторов. Неповторимое московское место, столь не похожее на стерильно-строгие, чопорно-молчаливые министерства, научные институты, засекреченные заводы и гарнизоны, из которых состоял огромный каменный город с рубиновыми звездами в синем вечернем небе. Дом литераторов был ковчег, куда во время потопа сбежалась и слетелась хрупкая, беспомощная жизнь, уцелевшая от вселенского наводнения. Обсохла, обжигалась, распустила перышки, вылизала нарядную шерстку, раскрыла разноцветные бутоны и почки и зажила так, как если бы не бушевала вокруг громадная тяжелая вода, в которой утонули целые поколения и царства.

Было весело и тревожно оставить машину на мокром от дождя асфальте недалеко от входа и войти в святилище, в его теплый, высокий, мягко освещенный вестибюль, где уже с порога тебя ожидали желанные и опасные встречи. С сотоварищами и соперниками, именитыми высокомерными литераторами и шумной бестолковой богемой, с властителями дум и безобидными пропойцами и неудачниками. Ты оказывался в едкой, нетерпеливой, вероломной среде, капризно-непостоянной, льстиво-велеречивой, скандальной, глубокомысленной, печальной, помышлявшей о славе и деньгах, о красоте и глубинном смысле, скрытом среди смертей и рождений. Среде, к которой принадлежал и ты сам, не любя ее и страшась, но почитая за единственно возможную для себя, незаменимую, где ты будешь понят и принят во дни своего успеха и в горькие, неизбежные часы поражения.

У входа, охраняя высокие тяжелые двери, сидели привратницы, костлявые, с тяжелыми лошадиными головами, выпуклыми мослами, похожие на старых породистых кляч в темных ветхих пополах. Сурово и нелюбезно осматривали всех входящих, наводя трепет на молодых визитеров, не имевших писательских билетов. Они были жрицы при входе в святилище, и Коробейников, уже завсегдатай Дома, испытал неисчезающее благоговение и робость при виде их выцветших, окостенелых лиц.

Сразу за этими грифонами в юбках начинался гардероб, где служитель, такой же мемориальный, как и само святилище, снисходительно, с легким презрением, принимал влажный плащ или зонтик, вешая его либо на общие крюки, среди прочих одежд, если ты не слишком именит и желанен и не окормляешь гардеробщика щедрыми чаевыми, либо помещал его отдельно, на вешалку для избранных, где могло уже висеть малиновое пальто поэтической знаменитости, ужинавшей в ресторане с очередной красавицей, или мятый берет славного писателя-деревенщика, выступавшего на творческом вечере, или остроконечный зонт модного беллетриста, заглянувшего выпить рюмочку водки в уютном баре. Коробейников, принимая номерок, не без удовольствия заметил, что его плащ оказался рядом с роскошным макинтошем, какой носил в последнее время баловень шумных поэтических празднеств.

В вестибюле, где уже сновало множество народу, он обменялся несколькими молниеносными взглядами с посетителями, знакомыми и незнакомыми, по-звериному чуткими, любопытными, ищущими среди входивших узнаваемое лицо, к которому можно устремиться с громким, напоказ, возгласом, и тут же на глазах у всех старомодно, по-московски расцеловаться. Или же, напротив, скользнуть в сторону, скрыться за колонну, если лицо по какой-либо причине было неприятным или опасным.

При входе в холл на высоком штативе был выставлен некролог, оповещавший о кончине очередного писателя, на сей раз некоего Гринфельда, чье выведенное черным имя ничего не говорило Коробейникову. Принадлежало к огромному множеству литераторов, авторов каких-нибудь военных стихотворений о вождях и героях или критических статей, порицавших Ахматову и Зощенко. Эти небольшие многочисленные литераторы населяли целый район Москвы у метро «Аэропорт», как ласточки-береговушки. Дружили, ссорились, сплетничали, вылетали на прогулку в соседний скверик и время от времени умирали, оставляя уютные квартирки своей многочисленной еврейской родне. Некролог в Доме литераторов был последней страничкой в литературной судьбе писателя Гринфельда. Перед закрытой дверью, ведущей в малый зал, лежала оброненная еловая веточка, что означало приготовление к завтрашней панихиде, для которой в сумерках затворенного зала были сдвинуты в сторону кресла, выставлен длинный просторный стол, стоял обтянутый кумачом, покуда пустой, пахнущий сырой древесиной гроб. Коробейников мысленно и без всякого сожаления представил в красном гробу сердитое желтоватое личико с крупным носом и фиолетовыми склеенными губами. Спустился в туалет, желая ополоснуть перед ужином руки.

Там он застал комичную и весьма характерную сцену. Два изрядно подвыпивших поэта, обычно являвшихся в Дом литераторов задолго до вечерних сумерек и набиравших в буфете водки, дешевых бутербродов с колбасой и селедкой, теперь, в туалете, среди несвежего кафеля и тусклых зеркал, выясняли, кто из них «последний поэт деревни».

– Ты – графоман и воришка чужих метафор и образов!.. Спер у меня строки: «Средь широких хлебов затерялась деревня...» Я тебе по пьянке читаю гениальные стихи, а ты записываешь и вставляешь в свою туфту... Недаром о тебе говорят: «Все стихи – говно, но встречаются гениальные строчки!..» – нахохлился маленький, воробыиного вида, поэт, нацелив на соперника острый раздраженный клювик.

– Как сейчас дам тебе в лоб, чтоб не врал!.. Чтоб мозги твои тухлые здесь растеклись!.. – белел от гнева второй, крутя крестьянской жилистой шеей, на которой страшно взбухала синяя вена.

Оба родились в деревнях. Писали о заколоченных избах, об обездоленных деревенских старухах, о крапиве и лебеде у родного порога. Обещали в своих стихах вернуться в родимый край и залатать старой матери прохудившуюся крышу избы. Коробейников ополаскивал руки, видя в зеркало, как стоят они среди кафельных стен туалета, готовые подрагаться, выходцы из русской провинции, обожатели Есенина, дебоширы и выпивохи, пропивающие в буфете свои невеликие деньги и малые таланты.

Коробейников, словно обходя границы своих необширных писательских владений, поднялся на второй этаж, где за дверями в актовый зал раздавался многоголосый взволнованный шум, звучали аплодисменты, рокотал хорошо поставленный голос. Приоткрыл дверь и увидел заполненные ряды, удаленную освещенную сцену, на которой, выступая по грудь из трибуны, возвышался известный литературовед, полноватый, сдобный, с холеной кадетской бородкой, с расчесанными на прямой пробор волосами.

– Именно поэтому, многоуважаемые коллеги, я уповаю на это насущное, наиболее полное для нынешнего литературного процесса определение: «нравственные искания». Ибо в этих исканиях наша литература, не забывая громадные государственные задачи, поставленные партией, не выпуская из вида всенародного коллективистского дела, обращается к обычному человеку с его внутренним миром и поиском. С глубинной нравственностью, без которой невозможна коммунистическая перспектива...

Эти слова он произнес с сочным и вкусным звуком. Эффектно потрянул волосами, пропустив сквозь белую холеную пятерню свою шелковую бородку.

Зал аплодировал. Слушатели наклонялись друг к другу, улыбались, что-то шептали. По виду некоторых могло показаться, что они шепчут: «Ну и шельма!.. Ну и плут!..»

Литературовед был близок к официальным кругам. Делал стремительную политическую карьеру. Был на редкость умен. Этот новый, введенный им в обращение термин «нравственные искания» объяснял и спасал, пристегивая к партийной доктрине, новые веяния прозы: защиту маленького человека, изнасилованного слепой государственной машиной. Воспевание простого солдата, которым, как винтиком войны, управляли и жертвовали победоносные маршалы. Описание незаметного городского служащего, убегающего в свой однокомнатный мирок от изнуряющей, подконтрольной публичности. Эти литературные веяния вначале подвергались осуждению. Однако, благодаря стараниям умных и тонких политиков, были признаны за благо, объяснены великой русской традицией, поставлены на службу социалистического гуманизма. Коробейников притворил дверь в зал, оставив по другую сторону рокошующие аппетитные звуки.

Здесь, в Доме литераторов, отдыхали после долгого дня, проведенного за письменным столом. Встречались за ужином с редактором или критиком, обставляя умной комплиментарной рецензией острую рукопись или выпущенную книгу. Завязывали необязательные легкие связи с женщинами, которые курили тонкие сладкие сигареты и сладко напевали в ухо художника медовую ложь о его неповторимости и одаренности. Здесь кичились новым романом или поэмой, узнавая по мимолетным замечаниям доброжелателей и завистников свое новое место в литературной иерархии. Здесь велись запретные разговоры, звучали свободололюбивые речи, невозможные ни в одном другом месте Москвы, и среди говорливых писателей легко и прозрачно, как тени, сновали информаторы КГБ.

Коробейникову обещали найти машинистку, которой он бы хотел передать часть завершенной рукописи. Он поднялся на антресоли, где помещались комнатухи и кабинетники для персонала и куда знакомая дама-администратор, пышная и красивая, с круглыми полуголыми шарами груди, напоминая царицу Елизавету Петровну, приглашала его заглянуть, обещая помочь с машинисткой. Здесь царил полумрак, пахло ветхим паркетом, под ногами бесшумно стелились ковры. Он ткнулся в одну, другую запертую дверь. Третья, плохо замкнутая, легко отворилась, и он, оказавшись на мгновение в каштаново-золотистых сумерках, обжегся глазами о зрелище. Похожая на Елизавету Петровну дама стояла нагнувшись. Из ее расстегнутой блузки изливались две огромных свободных груди. Лунно круглились белоснежные пышные ягодички. На обнаженном бедре узорно серебрилось кружево черного чулка. Мужчина, полураздетый, жадно обнимал ее сзади. Обернулся на вошедшего Коробейникова безумными бельмами, жарко дыша оттопыренными бычьими губами. Коробейников отпрянул, захлопнул дверь. Остывал от ожога. Зрелище не шокировало, не возмутило его. Дом литераторов был ковчегом, плывущим среди потопа множество долгих лет. Спасавшиеся на нем пары совокуплялись, воспроизводя себя в поколениях, чтобы счастливым, достигшим земли, было возможно продлить свой род.

Через пестрый, украшенный разноцветными кляксами зал, сквозь табачные облака, ровный, как в бане, гул, звяканье стаканов, множество разгоряченных и пьяных лиц Коробейников направился в дубовый зал ресторана, где у него намечалась встреча. Проходя мимо банкетного зальца, увидел, как оттуда вылетала с подносом разгоряченная красавица официантка, похоже, подшофе, улыбаясь румяными устами какой-то летящей ей вслед шутке. В приоткрытую дверь мелькнул уставленный яствами стол. Дымились мясные блюда, кипами распушилась зелень, блестели винные и водочные бутылки. За этим щедрым столом вольно и счастливо восседали баловни литературы, звезды национальной поэзии. Широкоскулый, в мелких оспинах, кудрявый калмык. Благодушный, с носом-баклажаном и глазками-сливами, аварец. Смуглый, как кожаное седло, с колючими усиками, башкир. Маленький лысоватый балкарец, похожий на добродушного розоватого лягушонка. Все лауреаты Государственных премий, гуляки, сластолюбцы, имевшие каждый своего русского переводчика, создававшего из их нерифмованных фольклорных речений лирические шедевры. Этот мелькнувший стол

напоминал нарядную вывеску на стене трактира. Коробейников усмехнулся этой нарисованной на картоне, в сочных подмалевках литературе.

И странно, отвлеченно подумал: этот дом, состоящий из множества помещений, этажей, закоулков, в лабиринтах, переходах и лестницах, воспроизводит модель мира, где в одно и то же время, разделенное тонкими перегородками, совершалось. Безгласно лежал в гробу пропитанный формалином покойник. Страстно и самозабвенно, источая жаркие стоны, любили друг друга мужчина и женщина. Дрались среди зловонного кафеля отвергнутые человечеством гении. Витийствовал, обманывая и лстя, тонкий и лукавый царедворец. Наслаждались среди яств и душистых вин эпикурейцы. Плакали невидимыми миру слезами правдолюбцы и страстотерпцы. И все это летело, как в космическом корабле, среди мглистых туманных звезд, и две окаменелые жрицы застыли, словно статуи на носу корабля.

Коробейников обошел чертог и оказался на пороге главного ритуального пространства, где совершались священнодействия, ради которых стремились в этот дом неопиты, дорожа драгоценной возможностью оказаться среди дубовых, коричневых панелей, резных смугло-лакированных колонн, готических стрельчатых окон и перламутровых витражей, под тяжелой хрустальной люстрой, наполненной желтоватым застывшим дымом. То был ресторанный дубовый зал, уставленный столиками, с черным жерлом камина, где когда-то размещалась масонская ложа, а теперь творились жертвоприношения из телячьей вырезки, бараньей спинки, свиной ножки, осетрино бока, щедро поливаемых великолепными красными и белыми винами, от которых развязывались самые молчаливые языки, загорались восхищенно самые тусклые глаза, создавались и созревали самые фантастические замыслы. Сюда, на ужин с литераторами, замышлявшими издание необычного альманаха, и был приглашен Коробейников, молодой восходящий талант, еще не примкнувший ни к одному из литературных лагерей, а потому желанный в каждом.

Общество разместилось за длинным столом у лестницы, чуть отделенное от прочей публики витой колонной, под красивым многоцветным светильником. Коробейников занял ожидавшее его место.

— Итак, когда мы все в сборе, позвольте, друзья, еще раз сформулировать нашу великодушную и, надо признаться, непростую задачу...

Глава стола и будущий редактор альманаха, критик Вольштейн, торжественно и слегка тревожно оглядывал всех фиолетовыми, выпуклыми, как у спаниеля, глазами. Ловко печатал слова шевелящимися малиновыми губами. На его лысом, чуть влажном черепе играл размытый свет фонаря, словно череп побрызгали разноцветной водой. Вьющиеся, окружавшие лысину волосы еще больше придавали ему сходство с собакой — ловцом водоплавающих птиц. Оратор был воодушевлен своим водительством, своей культурной и опасной ролью, которую решил играть в обход писательского начальства, что делало его почти диссидентом.

— Настало время, друзья, показать отечественной, да и зарубежной общественности, что наша мысль не топчется на месте, окруженная частоколом устарелых партийных догм. Что в наших рядах появились за это время талантливые и отважные мыслители, оригинальные художники, не желающие пребывать в тесных загонях и стойлах, куда их поместили надсмотрщики и конюхи современной культуры. Мы переживаем время творчества и обновления. Сборник, который мы затеваем, будет столь же значителен, как и достославные «Вехи» или «Из-под глыб». Займет свое неповторимое место в истории русской словесности и свободной общественной мысли. Давайте же выпьем за наше еще не рожденное детище!

Он поднял рюмку водки, в которой фонарь играл голубыми, алыми и золотистыми искрами. С долгожданным торжеством лидера приглашал остальных признать в нем это лидерство, обещая поделить славу поровну. Все потянулись навстречу. Одушевление, которое было на лицах, объяснялось не только высотой и значительностью замысла, но и вкусной

едой, нагулянным аппетитом, запахами солений, телячьих языков, рыбных розовых лепестков. Коробейников, дорожа возможностью оказаться в столь необычном кругу, охотно выпил водку, ощутив ее литой горький холод.

— Пусть первым выскажется, поделится своим богатством с нами, грешными, наш уважаемый Олег Леонидович Медведев, — торжественно и комплиментарно возгласил Вольштейн, улыбаясь малиновыми, мокрыми от водки губами в сторону худого, с тонким аристократическим лицом писателя, чья пергаментная серебрящаяся кожа, аккуратная седая борода, тонкие персты с кольцом вполне оправдывали его дворянское происхождение, подчеркивали перенесенное им мученичество, когда он провел в северных лагерях почти двадцать лет, добывая пропитание себе и товарищам тем, что ставил петли и капканы на зайцев, мережи на рыбу, самострелы на глухарей, — результат его юношеского, дворянского увлечения охотой, плод особого аристократического стоицизма, позволившего выжить в условиях лагерных зверств.

— Ну что я могу предложить для будущего, несомненно интересного издания, господа... — Медведев, чуть потупясь, батистовым платком отер губы, слегка испачканные заливным.

Этот деликатный опущенный взгляд, мягкое прикладывание платка к губам, полупрозрачный батист, столовая салфетка, небрежно и изящно засунутая за ворот белоснежной рубашки, старомодно-насмешливое обращение «господа» были элементами стиля, который культивировал Медведев, охотно играя роль русского дворянского писателя, сближавшую его с Буниным.

— У меня есть небольшой рассказец, как я зимой поймал в стальную петлю глухаря. Ничего особенного, просто лютый мороз, сверкающий наст, огромная заледенелая птица с приподнятой алой бровью, твердый зоб, набитый мороженой брусникой, и я на лыжах возвращаюсь с охоты, вспоминая мой дом в Петербурге на Камергерской набережной, туманную Неву, дрожащее на волнах золотое отражение иглы. И все. В рассказе ни слова, что я несу добычу в лагерную зону, где мои товарищи по бараку умирают от голода и цинги. Просто удачная охота, черная с синим отливом птица и мое воспоминание о Петербурге...

— Прекрасно, — восхитился Вольштейн, — это и есть мартиролог всех убиенных русских дворян и аристократов, расстрелянных священнослужителей, истребленных родовитых сословий. Эта прекрасная мертвая птица и есть сама убитая, замороженная Россия. Все, кто знает вас, Олег Леонидович, поймут, о чем рассказ. Это по-бунински точно и великолепно. Ну что ж, начало положено. Выпьем за это, друзья!..

Рюмки слетелись, брызнув алым, голубым, золотистым. Всем нравилось начало интересного благородного дела, сулившего литературный успех, размыкавшего тесный ошейник удушающих догм, оттеснявшего опостылевший круг верноподданных литературных вельмож.

Коробейников почувствовал нежное прикосновение хмеля, который отозвался в душе приятием всех, собравшихся за этим милым столом. Ощутил застолье как одну из бесчисленных увлекательных ситуаций, куда поместила его благосклонная судьба. Как малый проект, сконструированный для него Господом Богом, дабы он мог воспользоваться этим проектом, что-то сотворить в его пределах, пусть самое скромное и незначительное, а потом перейти в другую, тут же возникшую ситуацию, стать частью другого, сконструированного Богом проекта. Вся жизнь от рождения до смерти представилась ему вытекающими одна из другой ситуациями, бесконечными, рождающимися один за другим проектами. Так озерная вода покрывается пересекающими друг друга кругами вслед за летящей гагарой.

— Я в свою очередь могу предложить публицистику «Взгляд сквозь железо»...

Это произнес публицист Герчук, насупленный, суровый, с маленьким темным лбом, с заросшими ушами и глазами, среди которых выглядывало замшевое влажное рыльце, какое

бывает у роющего крота. Публицист зарабатывал на хлеб очерками об истории заводов, о передовиках производства, но при этом тайно помогал диссидентам, собирал папиросные листочки их творений, готовя для самиздата.

— Мы должны обратиться через железный занавес к Западу. Дать им понять, что здесь осталась отрезанная от мира жизнь со своими идеями, скорбями, прозрениями, единая с жизнью всего человечества. Мы заплатили страшную цену за свою отдельность и теперь готовы платить еще большую за наше воссоединение. Я комментирую замечательные работы Андрея Дмитриевича Сахарова о конвергенции двух систем, его космогонические взгляды на общность судеб Востока и Запада...

Все сочувственно кивали, отдавая должное кропотливой работе Герчука, который сточил свое рыльце, пытаясь подкопаться под ненавистный железный занавес. Уперся в него, греб что есть силы широкими, торчащими из рукавов лопастями, буравил металл, не продвигаясь вперед, выдавливая на поверхность сырые комья плохо написанных производственных очерков.

— Мне кажется... Я, право, не знаю... В такой, как наш, сборник... Или, пускай, альманах... Моя статья о Прометеех духа... Сталинским кровавым пером были вычеркнуты из истории партии... Воспоминания о Бухарине и Троцком... Отрывки из дневников Зиновьева... Они все окружали Ленина, а потом их настигли пули... Мы зашли в тупик, потому что лишились Прометеев духа, возжегших огонь большевизма... Исправление социализма, о котором теперь так модно говорить, невозможно без правды... Правды о гениальных отцах большевизма...

Это говорил гонимый, исключенный из партии историк Ведяпин, обшарпанный, с засаленными рукавами, натертыми до блеска о столы библиотек, где он перечитывал подшивки газет, вычерпывая из них черно-белую свинцовую правду о процессах тридцатых годов. Его белки были горчичного цвета. Кончики пальцев желтели от никотина, будто их испачкали йодом. И весь он напоминал огромную, вываренную чайнику, выловленную из спитого чая.

Вольштейн ликовал, чувствуя, как интересно, многосторонне подбирается сборник, как тонко он, «ловец идеологий», складывает «атлас идей», накопившихся в обществе под спудом единомыслия. Успех казался несомненным. Он ласково и страстно озирает коллег фиолетовыми глазами ловчей собаки, словно это были кряквы, чирки, изумрудные селезни и золотистые свиязи. Протягивая над столом рюмку с водкой:

— За Прометеев духа, посылающих нам свой огонь!..

Все дружно чокнулись, подхватывая на кончики вилок лепестки семги, ломти языков и колбас.

Коробейникову было хорошо в кругу этих умудренных, прошедших тяжкие испытания людей, страдавших за свои убеждения, мучеников за веру, которые пустили его в свой круг, предполагая и в нем достоинства и добродетели. Ведущий застолья, благожелательный их предводитель, будущий редактор альманаха, совершал культурный, духовный подвиг, подбирая на огромном пустыре истории осколки раздавленных верований, черепки драгоценного сосуда, по которому проехался жестокий каток. Замуровал в асфальт обломки разноцветной вазы, где каждую сторону покрывал неповторимый драгоценный рисунок. Этот деятельный умный радатель, как археолог, проводил раскопки, извлекая из мусора истребленных эпох свидетельства былой цветущей культуры, где авангард соседствовал с божественной архаикой, славянофильство с западничеством, язычество с православием. Где загадочно, одиноко, огромно возвышался его любимый философ Федоров. Где воздушные, с прозрачными голубыми крылами, словно ангелы небесные, парили Флоренский и Сергей Булгаков, чьи труды он прочитал недавно в полуподпольных ксерокопиях. И если неутомимо трудиться, кропотливо искать, то можно собрать все рассыпанные черепки, все разрозненные осколки до последнего цветного кусочка и сложить из них дивную вазу, выставить перед

изумленным миром. И он, Коробейников, будет малой крупичей в этом изумительном русском сосуде.

Слово взял украинский поэт Дергач, с вьющимися до плеч волосами, гоголевским длинным носом, с бледными хрупкими пальцами, которыми он то и дело похрустывал. Его приподнятые острые плечи облегал модный бархатный пиджак, худую шею обрамлял воротник косоворотки с шелковым украинским орнаментом.

– Мои русские братья поймут меня правильно, если я предоставлю их вниманию не собственные мои сочинения, а высокие образцы украинского фольклора. Народные песни украинского сопротивления, с которыми мои соотечественники шли в неравный бой с армией НКВД, под звездами Родины, в темных дубравах Карпат. Умирали под пытками в казематах КГБ, подобно Остапу, чьи кости хрустели на эшафоте. Гнили в концлагерях, напевая вполголоса песни борьбы и свободы. Я думаю, что настанет время, когда рыцарь Бендера станет украинским национальным героем, ему поставят памятник, его именем нарекут города и селения, и мир узнает, на какую красоту посягали палачи с синими околышками, исполненные лютой ненависти к моей земле... – На его исхудалом бледном лице появились два розовых чахоточных пятнышка. Он стиснул белые, с длинными фалангами пальцы, и раздался хруст, будто их дробили на эшафоте.

– Это будет прекрасным вкладом в наш сборник, – воодушевленно поощрял его Вольштейн, – «За нашу и вашу свободу!». Не это ли было знаменем передовых русских интеллигентов в пушкинскую эпоху?

Коробейников пьянел от рюмки к рюмке, в которых танцевали разноцветные искорки резного фонаря, и каждая драгоценно растворялась в крови. Ему представилось магическое видение в виде огромной прозрачной льдины, где недвижно застыли холодные радуги. Среди этих мертвых стерильных спектров в ледяной толще были заморожены крохотные споры, заснувшие семена, оцепенелые корешки и отростки, оставшиеся от пышной растительности, не пережившей великого оледенения. Но кончится ледниковый период, растают снега и оживут семена и споры, проснутся луковки и клубеньки, и на голых каменистых равнинах вновь зашумят великолепные леса, райские кущи, благодатные заросли, и ожившая земля покроется невиданными цветами – русская культура воскреснет во всей своей плодоносящей силе и красоте.

– А чем вы нас порадуете, Виктор Степанович?

Вольштейн с заметным почтением, но и с некоторой игривой развязностью признанного духовного лидера обратился к писателю Дубровскому, автору изящной и горестной повести о хранителе древних рукописей, знатоке средневековых манускриптов, мудреце и ученом, заточившем себя в башне из слоновой кости, откуда сволокли его жестокие следователи НКВД. Умертвили во время ночных допросов, а беспризорные рукописи с античными и арабскими текстами залила вода из открывшейся канализационной трубы. Эта небольшая, с блеском написанная повесть имела огромный успех. Печаталась в журналах и книгах, сделав никому не известного провинциала кумиром свободомыслящей интеллигенции. Дубровский, сам отбывший срок в лагере и на поселении, был худ, изможден, обтянут темной морщинистой кожей, с огромными, почти без белков, мрачно-черными глазами, которые с каждой жадно выпитой рюмкой водки наливались лиловым безумным блеском, как у осьминога, выпукло и огромно выступая из орбит, и все его длинное несуразное туловище, гибкие руки и ноги волновались, тревожно двигались, не могли найти себе место, напоминая щупальца подводного существа, колеблемого течениями.

– Так чем же вы, Виктор Степанович, украсите наш альманах? – благосклонно и чуть фамильярно обратился Вольштейн к именитому литератору, который подпадал под его пестующую, вскармливающую длань.

Дубровский изгибался за столом своим неустойчивым длинным телом, словно зацепился шупальцем за невидимый камень, а его отрывало, влекло, сносило огромным потоком. Глаза жутко выпучивались, блестели чернильной тьмой. Задышавшись, вытягивая губы навстречу благодушному и вальяжному Вольштейну, он произнес полупрошептом:

– Ты – сексот!.. Таким, как ты, на зоне вставляли перо в бок!..

– Что вы сказали? – ошеломленно переспросил Вольштейн.

– Ты – гэбист!.. Нас собрал, чтобы сдать!.. Знаю твою тайну!.. Иуда!..

– Ну это шутка, я понимаю... Вы пострадали... Ваша мнительность... Мы тоже страдали... И чтобы не повторились репрессии... – Вольштейн умоляюще, вызывая о помощи, оглядывал других участников застолья, и, когда его панический взгляд скользнул по глазам Коробейникова, тот обнаружил в них панику и беспомощный, тайный страх привыкшей к побоям собаки. – Мы все, здесь собравшиеся, – ваши друзья...

Однако неожиданно тонко и истерично воскликнул историк Видяпин, воскрешавший из небытия «Прометеев дух»:

– Они покончили с Пражской весной, а теперь подбираются к нам, детям «оттепели»!.. Вы – провокатор, Азеф!.. Ну, зовите, зовите своих чекистов!.. – Он ткнул в Вольштейна заостренный, желтый от никотина палец.

Проходивший мимо официант удивленно на него оглянулся.

– Но ведь и вы, любезный, выступаете с провокационной идеей, – поджав губы, с дворянской брезгливостью произнес писатель Медведев, слегка отклоняясь от Видяпина, как от прокаженного. – Вы предлагаете воскресить дух палачей, которые залили Россию кровью. Неужели предполагаете, что я могу печатать мои произведения рядом с апологетикой Троцкого и Зиновьева? Мы, сторонники Белой Православной Империи, считали и по-прежнему считаем вас палачами. Бог кровавой десницей другого палача, Сталина, покарал вас, и это – Божье возмездие за поруганную святую Империю!..

– Хай будэ проклята твоя імперыя, біла чі чэрвона!.. Чи москаль, чи жид – единэ зло!.. – страшно хрустнул пальцами украинский поэт Дергач, ненавидяще взирая на Медведева и Видяпина. – Ваш Кремль стоит на украинских костях!.. Для украинцев вы все – палачи!.. Недаром в нашей песне поется: «Дэ побачив кацапуру, там и риж...»

Он страшно разволновался, ломал пальцы, хрустевшие, как сухие макароны. Его чахоточные пунцовые пятнышки пламенели на скулах, как два ожога. Под цветочным орнаментом косоворотки жутко ходил захлебывающийся кадык.

– Друзья мои... – старался вклинить в спор писатель Герчук, отрицавший железный занавес. – Это вековечный русский конфликт!.. Крайность взглядов!.. Только либеральный подход... Только идея свободы примирит непримиримое... Как сказал академик Сахаров, Запад подарит миру свободу, а Россия – коллективизм... Это и есть конвергенция!..

Он топорщил густую шерстку, из которой выглядывал влажный нос землеройки, двигал плечами в тесном пиджаке, словно хотел протиснуться в самую гущу спора, но его не пускали, выталкивали.

– Товарищи, я вас умоляю!.. – взывал к ним Вольштейн.

Его не слушали, кричали все разом. Резной фонарь поливал их сверху разноцветным прозрачным сиропом.

Оглушенный их неистовыми воплями, их ненавидящими обвинениями, Коробейников вдруг ясно подумал: в ледяную глыбу с прозрачными спектрами были заморожены крохотные бактерии, микроскопические вирусы, оставшиеся от былых эпидемий. Но стоит растаять льду, расплавиться льдине, как вирусы оживут, эпидемии хлынут в жизнь. Отравят своими жгучими ядами беззащитное, не имеющее прививок население, и оно начнет вымирать от жутких полузабытых болезней. Все былые ссоры и распри, все неутоленные мечты и учения вырвутся на свободу, овладеют людскими умами, и страна сотрясется от невиданных мятё-

жей, расколется на обломки, которые станут сталкиваться, скрежетать и дробиться. И там, где когда-то вращалось цветущее небесное тело, останется множество мелких камней, космической пыли и грязи. Все, что звалось великой русской историей, прольется метеорным дождем, сгорая бесследно в атмосфере других планет.

– Прав был великий Столыпин! Вам нужны великие разрушения, а не великая процветающая Россия!

– Ваш Столыпин – паршивый дворянский вешатель! За каждый «столыпинский галстук» мы и заплатили вам свинцовой пулей!

– Жиды царя сгубылы, вонны и коммунизм сгрызут. «Ой, Богданэ, Богданэ, нэразумный ты сыну, занаставив вийско, сгубыв Украину...»

– Антисемиты и юдофобы! Мне стыдно сидеть с вами за одним столом!

– Нельзя, повторяю вам, допускать тотального разрушения строя! Нужна эволюция, а не революция! Мы не перенесем вторичного потрясения!

– Коммунизм проник во все поры советской России, и нужен бескомпромиссный слом!

– Товарищи, обратитесь к академику Сахарову, он даст вам исчерпывающий ответ!

– Ваш академик – типичный олигофрен. Сначала выдумал бомбу и отдал ее коммунистам, а теперь предлагает нам вести с коммунистами борьбу!

Белесые, до плеч волосы поэта Дергача потемнели от пота, он страшно хрустел пальцами, словно отламывал фаланги и швырял их в лицо врагам. Публицист Герчук высовывал из косматой шевелюры оскаленную белозубую мордочку, фыркал, норовя укусить. В дворянской внешности Медведева вдруг обнаружилась верткость и яростная страстность охотника, хватающего из снега петлю, в которой бьется и хлопает крыльями чернокрылая, с алыми надбровьями птица. Ведяпин страшно побледнел, и на нем, как на мокрой известке, повсюду проступили нездоровые желтые пятна. Несчастный Вольтштейн рвал себя за кудряшки, и в его собачьих глазах стояли темные слезы.

Дубровский вдруг проворно вскочил. Схватил со стола стеклянное блюдо с остатками салата. Взгромоздился на стул, под самый фонарь, тощий, дикий, растрепанный. Навесил блюдо над головами собравшихся. Изгибаясь неустойчивым, пьяным телом, страшно гримасничая, пуча ненавидящие чернильные глаза, закричал:

– Атомную бомбу на всех вас, евреев и коммунистов, православных и иеговистов!.. Раздолбать эту чертову страну к ебене матери, чтоб остался котлован в шестую часть суши и натек океан!.. Грохнуть бомбу, и весь альманах!..

Ресторан ахнул, наблюдая дикую сцену. Заплодировали, заулюлюкали, закричали:

– Снимите его, он повесится!..

– Зачем мучить достойного человека!..

– Дубровский, да разбейте вы, наконец, их собачьи головы!..

Коробейникову было страшно, смешно, противно. Будто лопнул обтянутый пленкой моллюск и разбрызгались темные капельки слизи. Он беспомощно озирался. Увидел, как через зал приближается, улыбаясь, приветливо воздевает светлые брови, усматривая в происходящем один комизм, радуясь возможности потешиться и поразвлечься, вышагивает недавний его знакомец, ставший вдруг близким приятелем, Рудольф Саблин, невысокий, ладный, с красивым жизнелюбивым лицом, с блестящими светлыми волосами, серо-стальными, слегка навекат глазами. Блистала его белоснежная, с кружевным воротником рубаха. Прекрасно сидел модный, узкий в талии пиджак. Было в нем нечто изысканное, чуть старомодное, напоминавшее маркиза, милое и дружелюбно-забавное, если бы не хищный, с малой горбинкой, нос и узкие, чуткие ноздри, вынюхивающие далеко впереди опасность.

– Мишель, – обратился он к Коробейникову, игнорируя остальное застолье, – что у вас здесь происходит? Репетируете пьесу Горького «На дне»?

– Сексоты!.. – продолжал вопить под потолком Дубровский, раскачивая тяжелое блюдо. – Агенты КГБ!..

– Он пьян!.. Уведите его!.. Посадите его на такси!.. – умолял Вольштейн, взывая к новому появившемуся лицу, от которого исходила бодрая энергия и незлая ироничная властность. – Он компрометирует свое писательское имя!.. Компрометирует наше благородное начинание!..

– Сударь мой, – беззлобно и дружелюбно произнес Саблин, легонько дергая Дубровского за брюки, – не угодно ли вам снизойти до нас. Поверьте, нам будет удобнее общаться, если мы окажемся на одном уровне.

Этот приветливый, чуть насмешливый тон вдруг возымел действие. Дубровский слез со стула. Несколько рук приняло у него опасное стеклянное блюдо.

– Быть может, вам помочь? – любезно продолжал Саблин. – Если вы нуждаетесь в дружеской помощи, я готов вас проводить на улицу и посадить на такси.

– Прочь от этой сволочи!.. Вот такие на нас доносили!.. Пытали в подвалах Лубянки!.. – Дубровский пьяно навалился на плечо Саблина, колеблясь, словно наполненная влагой водоросль. – Домой!.. К чертовой матери!..

Коробейников подхватил шаткого Дубровского за пояс, чувствуя пробегающие по тощему телу болезненные судороги. Все облегченно и благодарно смотрели, как выводят они из дубового зала пьяную знаменитость, спасая писательское братство от всеобщего позора.

Проходя мимо бара, Дубровский уперся, вцепился в стойку.

– Рюмку водки!.. – потребовал он. – На посошок!.. Без рюмки не уйду!..

На высоком сиденье восседал знаменитый дагестанский поэт, покинувший ненадолго банкетный зал. Багровый, горячий от выпитого вина, с глазками, похожими на масляные лампадки, поджал маленькие пухлые ножки, косноязычно и плотоядно любезничал с дородной белокурой барменшей, кидавшей лед в его золотистый коктейль.

– Рюмку водки!.. – требовал пьяно Дубровский. – Какой, однако, баклажан замечательный! – воззрился он на дагестанского поэта.

Коробейников, опасаясь безобразной ссоры, поскорее заплатил за водку, и Дубровский с отвращением, проливая за ворот, выпил рюмку, роняя ее на пол.

– Теперь, когда топлива у нас полный бак, можем ехать, не так ли? – весело произнес Саблин, увлекая Дубровского к выходу.

Проходя мимо малого зала, Дубровский ловко юркнул в приоткрытую дверь, туда, где в полумраке краснел на столе открытый кумачовый гроб с прислоненной крышкой. С поразительной для пьяного ловкостью вскарабкался на стол и улегся в гроб. Ноги его не вмещались, и он согнул их в коленях:

– Пожалуйста, схороните меня!.. Закопайте меня в шар земной!..

– Может, забьем его в гроб? – спросил у Коробейникова Саблин. – Он не скоро начнет разлагаться, как и все проспиртованное.

Дубровский вылез из гроба и, качаясь в сумерках, забродил по залу, наступая на пахучие еловые ветки.

Не без труда они вывели его на воздух, на влажный асфальт, в котором мягко отражались желтые огни подъезда. Коробейников поймал такси, сунул водителю купюру:

– Пожалуйста, отвезите писателя к «Аэропорту». Он немного перебрал, извините.

Саблин настойчиво, под локоть подводил Дубровского к приоткрытой дверце такси.

Погруженный то ли в пьяное помрачение, то ли в тяжелый бражный кураж, впадая в бред или испытывая потребность в безобразном публичном скандале, Дубровский оттолкнул Саблина, громко, чтобы слышали прохожие, закричал:

– Ты сексот!.. Ты написал на меня донос!.. Ты майор КГБ!.. Разоблачаю тебя перед миром!..

На них оборачивались, останавливались. Таксист из машины недовольно спросил:
– Едет он или нет?

Коробейников негодовал. Ненавидел скандалившего, безобразно-отвратительного Дубровского. Был готов бросить его здесь, у входа, и вернуться в Дом литераторов.

– Минутку, – произнес Саблин, отступая от шаткого пьяницы.

Мимо шел милиционер, не постовой, не дежурный, а обычный милицейский сержант с молодым деревенским лицом, возвращавшийся со службы домой. Саблин издали углядел его околышек и кокарду, погоны и блестящие пуговицы на мундире.

– Товарищ сержант, – остановил он милиционера доверительным тоном, – будьте любезны, окажите услугу. Подойдите к этому хорошему, но слегка подгулявшему писателю и просто скажите: «Гражданин Дубровский, в машину!»

Сержант колебался мгновение, глядя, как извивается длинным телом червеобразный человек, волнообразно взмахивает руками, что-то несвязно выкрикивает. Подошел к Дубровскому со спины и грубым казарменным голосом произнес:

– Гражданин Дубровский, в машину!

Дубровский замер в нелепой растрепанной позе, словно его расплющили и умертвили. Секунду оставался недвижим, с воздетой рукой, с полусогнутой в колене ногой, будто его нарисовали черной краской на желтом отражении асфальта. Потом стал уменьшаться, сжиматься, складывал руки, втягивал шею, как складывается, убирая растопыренные перепонки и иглы, зонтик. В его пьяном буйном сознании что-то неслышно щелкнуло, переключилось. Замкнулся незримый контакт, соединивший его с неушедшим недавним прошлым, лишь слегка присыпанным московской нарядной мишурой, заслоненным шумной легкомысленной публикой, литературной славой и почестями. Ночные допросы. Бьющий свет из железной лампы. Зарешеченные, идущие в бесконечную ночь вагоны. Пересылки, переключки, этапы. Конвоиры, овчарки, бараки. Вереницы понурых, изможденных людей, среди которых он сам в поношенной телогрейке. Это возникло в нем, воскрешенное хрипловатым казарменным окриком, видом милицейской кокарды и пуговиц.

Дубровский согнулся, ссутулил костистую спину, словно ожидая удара. Голова его жалко повисла на тощей шее. Он завел руки за спину, как делают заключенные. Послушно, смиренно направился к такси. Саблин легонько втолкнул его внутрь салона, захлопнул дверцу. Машина укатила. Милиционер шагал далеко, исчезая среди вечернего люда. Саблин весело улыбался, радуясь своей изобретательности.

Коробейников стоял в мучительном недоумении. Ему было больно, стыдно, противно. Изящный, в кружевной рубашке Саблин легчайшим, без всяких усилий нажатием привел в движение громадные маховики и колеса, составлявшие истинный механизм жизни, лишь на время упрятанный в разноцветные покровы призрачного бытия. Смазанные, законсервированные шестерни и стальные лебедки. Зубчатые колеса и угрюмые валы и пружины. В урочный час молчаливый зритель поднимется на мрачную башню, запустит механизм. Заскрипят, заскрежещут шестерни, натянутся стальные жгуты, застонет пружина. И в глухой ночи, над обморочно спящей страной уныло и жутко пробьют куранты.

– Ну что? – по-мальчишески весело, довольный своей удачной выходкой, сказал Рудольф Саблин. – Продолжим наш вечер, Мишель?

И они вернулись в Дом литераторов.

Глава 6

На этот раз они не пошли в респектабельный дубовый зал, в котором проедали гонорары удачно издающиеся, именитые писатели, а угнездились в пестром зале, накуреном, с низким потолком, с тесными столиками и неиссякаемой очередью у буфета, где булькала водка, шлепались на прилавок мисочки с вареной картошкой и селедкой, появлялись одна за другой фарфоровые чашечки с мутным, опресненным кофе, и загнанные буфетчицы в несвежих халатах мусолили мелкие мокрые деньги. Пестрый зал был прибежищем литературной богемы, поэтических неудачников, робких, вступающих в литературу новичков, захожих дам, всегда готовых утешить непризнанного гения, выслушать порцию его неудобоваримых стихов, а когда он потеряет дар речи, увезти его, поддерживая, как санитарка, с поля поэтической брани, уложить в какую-нибудь походную койку. Если дубовый зал был верхней палубой с благородными пассажирами, то пестрый был кубриком, с голытьбой, шумной и бражной, гневливой и завистливой, наивно-доверчивой и сентиментально-слезливой. На стенах и сводах были нарисованы фрески, красовались автографы известных литераторов, топорщил усы кем-то намалеванный Дон Кихот, восточная красавица из «Шах-наме», выделяясь из прочих изображений, пучил страшные глазища, наклонял витые бараныи рога бородатый и ужасный Бафомет, вполне уместный среди нередких ссор и драк, искушений и неудержимых славословий. Здесь, у стены, под Бафометом, устроились Коробейников и Саблин, окруженные дымным горячим воздухом, в котором мелькали зыбкие тени.

– Мишель, прошу вас, сидите, мне будет приятно поухаживать за вами. – Саблин оставил Коробейникова артистическим жестом. Направился к буфету, чтобы скоро вернуться с чашечками кофе и фисташковым печеньем.

Их знакомство, случившееся здесь же, в Доме литераторов, месяц назад, увлекло Коробейникова. Саблин интересно и ярко разговаривал. Эпатировал резкими, подчас опасными суждениями. Умел очаровывать, расположить к себе. Умел выслушивать и остро, искренне реагировал на чужую яркую мысль. Принадлежал к среде, доселе неведомой Коробейникову: был внуком знаменитого героя Гражданской войны, о котором писали школьные учебники, именем которого нарекались площади и проспекты, бронзовое лицо которого мужественно взидало с постаментов. Саблин принадлежал к баловням, к золотой молодежи, для которой подвиги и заслуги дедов должны были обеспечить высшие роли в обществе, открывали двери в престижные школы и элитарные институты, способствовали быстрому карьерному росту. Однако подвиги героических дедов сменились катастрофами отцов, когда, следуя один за другим, произошли изломы общественной жизни, «революционная знать» была наполовину выкорчевана, наполовину отодвинута, а в хрущевские времена заслонена новыми явившимися честолубцами и верноподданными любимцами власти. Саблин, окончивший Суворовское училище, где, волей Сталина, взращивалась новая советская гвардия, учили танцам и языкам, устраивались балы и конные состязания, – в хрущевские годы, после каких-то конфликтов и злоключений, был выброшен из обоймы, потерпел поражение. Теперь, полный реванша, едкой неприязни, ядовитой мизантропии, занимал какую-то пустячную должность в министерстве. Старался демонстрировать прежний лоск, который постоянно приходилось подтверждать нарочитой неординарностью взглядов, демонстративной независимостью суждений, выпадами в адрес ненавистной, обманувшей его власти. Его редкое имя Рудольф, как он намекал Коробейникову, объяснялось германофильскими настроениями в семье накануне войны, когда многие из государственной и военной элиты увлекались Третьим рейхом, и его называли чуть ли не в честь фашистского соратника Гитлера – Рудольфа Гесса.

И вот они сидели перед чашечками кофе под рогатым изображением бога зла, и Саблин, дорожа их общением, любовно сияя серыми сверкающими глазами, говорил:

– Мишель, если бы вы знали, как я дорожу каждой нашей встречей. Всякий раз открываю в вас все новые и новые достоинства. Вы – удивительный человек. Не похожи ни на одного, с кем я общаюсь. И уж, конечно, не похожи на этих увечных, уродливых существ, именуемых по недоразумению писателями. Это худшее, что есть в нашей никчемной, дурной стране. Вы – полная им противоположность. Книга, которую вы мне подарили, – нежная, изящная, как перламутровая раковина. Ваш разрыв с этой угрюмой тупой цивилизацией, где вам предлагалось стать винтиком и за каждым вашим шагом, за каждой мыслью наблюдал мужик с пистолетом, – ваш уход в леса созвучен монашескому подвигу. Вы всем пренебрегли: оставили Москву, отчий дом, невесту, оставили свою престижную инженерию, которая сулила вам при ваших талантах быструю карьеру. Вопреки страшному давлению советской среды, ушли в леса. Это напоминает уход Толстого. Напоминает поступок императора Александра Первого, оставившего трон и ставшего старцем Федором Кузмичом. Для этого нужно мужество, нужен порыв, нужна высшая духовная цель. Это подвиг – аристократический, монашеский. На него не способно все это животное быдло!.. – Саблин в пол-оборота оглянулся на шумящий зал, в котором колыхались размытые тени, окутанные дымом, словно люди, пропитанные спиртом и больным кофеином, на глазах истлевали.

Коробейникову было неловко слушать восторженные излияния, экзальтированные признания в любви. Он еще не забыл недавний жестокий поступок Саблина, превративший именитого писателя в скрюченного жалкого зэка. Но было сладко вкушать похвалы оригинального, поражавшего воображение человека, соединявшего в себе едкий беспощадный цинизм и нежную, ищущую дружбы душу. Саблин был столь необычен, что Коробейников, общаясь с ним, исследовал его как героя будущего произведения. Запоминал его оригинальные реплики, его веселые и злые суждения. Исподволь выпытывал детали жизни. Мысленно рисовал его образ, делая с красивого, сероглазого, с гордым носом лица невидимые оттиски, помещая их в свой будущий роман.

В пестрый зал вошел известный писатель, получивший недавнюю громкую славу за книгу деревенских очерков.

Подобно страннику, он колесил по сельским проселкам, восхищая читателей описаниями русской природы, разоренных храмов и пустошей, сценами крестьянской жизни, умными и смелыми суждениями о величии народной культуры, которую подавила бездушная индустрия, оставляя за собой руины церквей, расколотые доски икон, пепелища разоренных деревень. Книга была свежа, хороша своим языком, исполнена сострадания и сочувствия к русской многострадальной деревне. Ее печатали во многих изданиях. Писатель мгновенно разбогател, купался в славе. Сейчас, на пороге зала, его простое курносое лицо выражало зоркую мнительность. Он не торопился пройти, впитывая завистливые восхищенные взгляды. Рядом с ним была молодая прелестная женщина, выше его, на тонких каблуках, с нежным золотистым лицом, рассыпанными по спине волосами. Казалось, писатель взял ее в качестве трофея и теперь привел в Дом литераторов, чтобы похвастаться добычей, продемонстрировать свою возросшую именитость, что ему вполне удалось. Из дымных углов раздались крики одобрения, пьяные аплодисменты. Снисходительно улыбаясь, невысокий, кургузый, в неловко сидящем костюме, писатель прошествовал в дубовый зал, уводя с собой полонянку, чтобы вкусно кормить ее на глазах у завистливых и восхищенных собратьев.

– Плебей, – презрительно провожал его Саблин, сжав глаза до ненавидящего узкого блеска, – мурло. Из грязи да в князи. Такие жгли помещичьи усадьбы и библиотеки, насиловали дворянских барышень с Бестужевских курсов. Это подлое плебейское начало в русском народе встретилось с местечковым еврейством, и вместе они удушили Россию в зловонье лука и чеснока, избили и расстреляли утонченную русскую аристократию. Когда Зиновьев

поселился в Кремле, ему отлавливали и приводили в теремные дворцы дворянских девушек, и он устраивал оргии в опочивальне царицы. Обрызгивал своей гнилой еврейской спермой ложе московских царей. Вы рассказывали о ваших предках, Мишель, о молоканах, духоборах, которые бежали от притеснений и гнета. В вашем русском роду дышит свобода, поиск Бога. Вы, подобно своим предкам, восстали против свинства и скудоумия и ушли в леса. Теперь же вернулись в блеске своей молодой славы, не похожий на этих чванливых пигмеев. Восхищаюсь вами, Мишель!..

Коробейников понимал, что его обольщают. Ставят перед ним зеркало, в котором возникает пленительное отражение. Приглашают любоваться этим отражением, верить в то, что и сам образ таков, с чертами врожденного благородства, безукоризненно правильными линиями носа, бровей, подбородка, с глубиной и проникновенностью золотисто-карих, светящихся глаз, чувственных, чуть припухших губ, которые временами начинают дрожать от незлой и умной иронии. Обольщение могло быть искусной игрой артистичного постановщика, желающего создать увлекательный, рассчитанный на долгое время театр общения, или же чрезмерным приемом, с помощью которого хотели завоевывать симпатии полубившегося человека. Коробейников в сладостном опьянении, в тепло-туманном кружении головы взирает на стену с изображением рогатого, котлообразного искусителя. Тайно усмехался тому, что Саблин, щедрый на медоточивые речи, является живым воплощением сказочного, прельстительного чудовища.

В пестрый зал вошел грузный, с пухлым телом человек в нескладном мешковатом костюме. На голове, над потным бледным лбом, мелко завивались черные жесткие волосы. Слегка вывороченные губы растерянно приоткрылись, словно не решались назвать чье-то имя. Сквозь толстые очки близоруко и неуверенно смотрели мягкие застенчивые глаза, выискивающие кого-то среди дымного и бражного многолюдья. Это был известный писатель, получивший старт, опубликовав в свое время юношескую студенческую повесть. Сразу же был награжден за нее Сталинской премией. Ошеломляющим и неожиданным в этом присуждении было то, что отец писателя, видный деятель революции, был репрессирован Сталиным. Многие говорили, что жестокосердый вождь, любитель тонких и мучительных представлений, компенсировал этой премией сыну расстрел отца, вынудив взять золотую эмблему, окропленную кровью родителя.

Быть может, эта сыновья вина делала облик писателя столь неуверенным и непрочным. И она же, ставшая сутью его, быть может, сулила в будущем мощный творческий взрыв. Писатель напоминал большую темную птицу, нахохленную, с распушенными перьями, горбато сидящую на ветке, готовую либо взмыть в бесконечную высь, либо навеки остаться на суку среди дождей и туманов, напоминая чучело птицы.

— Гений Сталина заключался в том, что он, живя среди бесов, сумел одних натравить на других. Перебить одних руками других, а оставшихся, ослабевших в схватке, поместить в ГУЛАГ, в эту огромную клетку, которая была на деле громадным бесохранилищем. Сатанинские силы, тщательно изолированные от остального народа, поделенные на классы и виды, пронумерованные, взятые на учет, были размещены в бараках, за колючей проволокой, на огромном расстоянии от городов, чтобы бесовские чары не достигли скоплений народа. Сталиным, выпускником Духовной семинарии, была проведена огромная религиозная работа по закланию бесов. НКВД был религиозным орденом, вступившим в схватку с сатаной, когда многие следователи были совращены своими подследственными, сами превратились в бесов, и их пришлось уничтожить. Избиения, которые практиковали следователи Лубянки на ночных допросах, были методами самообороны, защищавшими чекистов от сатанинской агрессии. Этот пухленький писателишка был вынужден сожрать собственного отца, и бес, который живет в его урчащем чреве, является его отцом. Только великий святой и мистик, коим, несомненно, является Сталин, мог запечатать одного беса в другом, сделав сына моги-

лой отца. Хрущев, у которого вместо ступней выросли свиные копыта и на спине из лопаток выступают небольшие перепончатые крылья, раскрыл ворота концлагерей, выпустил бесов на волю. Теперь, оскудевшее сатанинское стадо опять расплодилось, и бесы снова заняли ключевые места в партии, культуре и КГБ. Этот курчавый лауреат зубочисткой выковыривает изо рта истлевшую плоть отца и готовится к мести. Вот увидите, Мишель, в скором времени мы прочитаем его ненавистническую, антисталинскую повесть...

Саблин ярко и беспощадно взирал на безобидного, застенчивого литератора, словно желал поразить его молниями. Коробейников чувствовал веселую ярость, исходящую от Саблина. Его тирады не были эпатирующим празднословием, а выражали глубинную ревность и отвращение к той плеяде революционеров, к которой принадлежал и его героический дед, оттесненный еврейской советской элитой от высших должностей в государстве. Слом и истребление этой победоносной и агрессивной элиты ставился Саблиным в величайшую заслугу Сталину. Коробейников с острым любопытством, изумляясь в себе этому художественному, неокрашенному этикой интересу, внимал оригинальному собеседнику, не испытывал к нему отторжения. Мимолетно подумал, что его, Коробейникова, дед, белый офицер, мог быть взят в плен красными под Перекопом, был зарублен дедом Саблина.

Через зал неуклюже и грузно на крепких кривых ногах прошел высокий, гордо глядящий писатель, вельможный секретарь Союза, возглавлявший толстый литературный журнал. Орденоносец, лауреат многих премий, автор многотомного романа о рабочей династии, где воспевались трудно и героически живущие поколения слесарей, добивавшихся удивительных трудовых показателей, мужавших вместе с родным заводом и городом, приобретавшим все больше достатка и уважения. Опора партии, лучшая часть народа, рабочий класс был главной темой толстого журнала, собиравшего вокруг себя литераторов, выходцев из заводской среды. Издание конкурировало с двумя другими, в одном из которых печатались писатели-деревенщики, хранители патриархальных заветов. В другом же публиковались писатели-горожане, носители тайного недовольства, тяготившиеся гнетом мертвящей идеологии, позволявшие себе намеками, полутонами протестовать против гнетущего строя. Писатель-вельможа, глядя поверх нетрезвой мишуры, брезгливо выставил нижнюю губу, поднял могучий подбородок. Торопился пройти сквозь комариную бестолковость пестрого зала, в глубину дома, где уже кто-то разглядел его появление, подобострастно бросился навстречу, торопился пожать руку.

– Хам, кухаркин сын, – кинул ему вслед Саблин, открывая в злой усмешке блестящие влажные зубы, нацелив вслед уходящему ястребиный жестокий нос. – Полагаю, если правы буддисты и существует переселение душ, то «гегемон», то бишь рабочий класс: все эти молотобойцы, стахановцы, сталевары и передовики – после смерти превратятся в кувалды, канализационные трубы, болты и костыли. Хамы поднялись из самых запретных, запертых, запечатанных глубин русской жизни и растоптали аристократию, которую Россия драгоценно и трепетно взращивала триста лет. В Гражданской войне победили евреи и хамы. Если бы не Сталин, мы бы и сейчас ели с земли, как свиньи. Сталин, религиозный и имперский человек, понимал значение иерархий. Он создавал иерархии, которым хотел вручить государство. Оттесняя вероломных евреев и скотоподобных русских хамов, взращивал элиту. Ведь я, Мишель, – не помню, говорил ли вам, – окончил Суворовское училище. Учился в блестящем, по личному приказу Сталина основанном заведении, где прежде размещался кадетский корпус. На стене нашего просторного коридора, куда выходили классные комнаты, сквозь побелку проступало дивное лицо государя императора. Начальник училища пригласил реставраторов, чтобы те расчистили позднюю побелку. Воспитателями у нас были кадровые офицеры царской армии. Нас учили танцевать мазурку, фехтовать, говорить по-французски. Из нас готовили будущий цвет армии, гвардейских офицеров, дипломатов, генерал-губернаторов. Нас всех срезал бульдозер Никиты Хрущева. Перепахал изумрудные

газоны английских парков под кукурузу. Снова вернулся хам, поставил перед каждым из нас вонючее пойло...

Коробейников с наслаждением, жадно внимал. Перед ним сидел герой его будущего романа, блистательный и ужасный, сентиментальный и жестокий, великодушный и мстительный, весь в противоречиях и изломах, которые оставила на нем «эпоха взрыва». Пленяющий воображение художника своей сложностью, экстравагантностью, непредсказуемостью. Еще никем не описанный вид, выведенный жестокой селекцией среди социальных обвалов. Коробейников знал, что когда-нибудь, не теперь, а в каком-нибудь будущем времени, опишет этот сводчатый дымный зал, призрачные тени, козлобородое чудище на стене и этого артистичного, позирующего ему человека, словно желающего обнажить себя, позволить Коробейникову зарисовать и запомнить, чтобы потом оказаться в сонмище других, еще непридуманных персонажей, в еще не написанной книге.

Но внезапно среди этих увлекательных наблюдений, во время «рисования с натуры», его посетило чувство опасности. Он рисовал, но и его самого рисовали. Он вовлекал Саблина в свое волшебное творчество, но и его самого вовлекали. Острый и страстный контакт, в котором протекало их общение, делал прозрачным не только Саблина, но и его, Коробейникова. В своей прозрачности он был столь же незащищен перед Саблиным, как и тот перед ним. И эта уязвимость на мгновение его испугала, но лишь на мгновение. Такова была природа творчества, когда художник и модель менялись местами, становились подобными, растворялись друг в друге, а иногда умирали один в другом.

– Воспоминание детства, Мишель... Крым, сороковой год, конец лета. Сухой, солнечный, благоухающий воздух. Синее море среди белых солнечных круч. На нашей даче повсюду цветы, дивно-ароматные, свежие, в стеклянных и фарфоровых вазах. Помню, мама ступает по легким сухим половицам. Папа в косоворотке пишет на столе какие-то бумаги и иногда, задумавшись, смотрит на море. Младшая сестра, совсем еще крошечная, в прозрачном солнечном платье и красных матерчатых туфельках. И вдруг к нашей даче подъезжает длинная черная машина. Какие-то военные в портупеях. В комнату по ступеням поднимается Сталин в белом, загорелый, стройный. Отошли с отцом к окну и, удерживая развевающуюся занавеску, о чем-то говорят вполголоса. Мама накрывает на стол, что Бог послал. Ставит на скатерть бокалы, бутылку с красным вином, блюдо с фруктами. Отец и Сталин сели за стол, разлили по бокалам вино, чокнулись. Сталин поманил меня. Посадил к себе на колени. Очистил большой оранжевый апельсин, аккуратно отломил от него дольку. Держал светящийся ломтик в своих узких, смуглых, красивых пальцах. Потом отдал мне. Помню чудесный вкус этой солнечной сладкой дольки. Помню смуглые пальцы Сталина в капельках сока. Помню мое восхищение, нежность, любовь. До конца дней буду помнить. Подумайте только, Мишель, это был сороковой год. Только что разгромили троцкистов. Еще не были построены авиационные и танковые заводы. Войска вошли в Прибалтику, в Западную Украину. Очень скоро должна была случиться война, ужасные жертвы и разорения. Но в ту минуту у нас на крымской даче – улыбающийся Сталин, солнце во всех комнатах, цветы и в его руках драгоценная прозрачная долька...

Саблин мечтательно закрыл глаза. На его губах блуждала томительная сладостная улыбка, будто воспоминание, которое его посетило, доставляло ему блаженство и боль. Было из иной, начавшейся, но не имевшей продолжения жизни. Сценой из рая, куда его поманили и откуда потом жестоко изгнали.

Они оба молчали, испытывая странное совпадение переживаний и чувств, когда кажется, что жизни соединились и одновременно протекают во времени, переливаются одна в другую, слитно плывут в туманно-горячем, безымянном потоке.

– Мишель, я забыл вам сказать, сюда должна зайти моя сестра. Я назначил ей здесь свидание.

– Та, что на даче в Крыму была в прозрачном солнечном платье и в красных матерчатых туфельках?

– Сейчас уже не в матерчатых... Да вот и она...

Коробейников оглянулся. В полукруглом проеме стояла женщина, стройная, с высокой грудью, вольно открытой, в темносинем шелковом платье. Ее гладкие золотистые волосы, расчесанные на прямой пробор, были стиснуты сзади в плотную корзину, чуть более темную от тугих заплетенных кос. Она медленно поворачивала голову на высокой белой шее, вопросительно, с едва заметным презрением осматривая бестолково гомонящий зал. Сероголубые, золотисто-зеленые, под приподнятыми бровями глаза постоянно и странно меняли цвет. Увидев ее под округлым сводом, желая лучше рассмотреть складки синеблестящего платья, ее красивые сильные ноги на высоких каблуках, узкую талию, над которой смело и выпукло поднималась приоткрытая грудь, ее прямой тонкий нос на слегка продолговатом, в морском загаре лице, Коробейников вдруг ощутил головокружение, как от внезапно выпитого бокала вина. Глаза наполнились горячим туманом, изображение женщины вдруг расплавилось и потекло, как это бывает в солнечном мираже. На мгновение он ослеп, пережил сладкий обморок, потеряв ее из вида, чувствуя ее присутствие не зрачками, а сердцем, будто в грудь ударили и остановились прозрачные лопасти света. Видел, как в этих лопастях течет и переливается табачный дым, словно в снопе кинопроектора. Казалось, сердце его вынули из груди, несколько секунд держали отдельно, а потом поместили обратно в задохнувшуюся грудь, где оно часто, с перебоями, забилося. Те несколько секунд, что он жил без сердца, были кем-то изъяты из его жизни и перенесены в иное бытие.

– Лена!.. – позвал Саблин. – Мы здесь!..

Царственно приподнимая при ходьбе плечи, женщина подошла, остановилась близко от столика. Коробейников вставал ей навстречу на ослабевших ногах, ведя глазами по ее шелковым синим складкам, полуоткрытой загорелой груди, по высокой дышащей шее, помещая лицо напротив ее восхитительного, чуть насмешливого, прямо и ярко глядящего лица.

– Познакомьтесь, – оживленно возгласил Саблин, приобняв сестру за талию. – Это Мишель, о котором я тебе столько и восхищенно рассказывал... А это Елена Солим, в девичестве Саблина. – Он сильнее потянул к себе сестру, и она, сопротивляясь, подалась и прижалась к брату бедром.

Не понимая, что это было, чем была его слабость и обморочность, откуда излетели прозрачные, аметистовые лопасти света, ударившие в грудь, Коробейников смотрел на женщину, немо и растерянно улыбался, забывжать ее протянутую руку, с опущенными, как для поцелуя, пальцами.

– Я принесла тебе хорошую новость, – обратилась она к Саблину (голос ее был глубокий, с волнующими грудными переливами, которые, как показалось Коробейникову, были предназначены для него). – Марк поговорил с этим чиновником из министерства. Ты можешь ему позвонить завтра утром, и он тебя тотчас примет.

– Твой муж, неполный тезка Марка Аврелия, хотя бы отчасти вознаграждает нас, Саблиных, за то, что лишил тебя этой замечательной фамилии, – чуть вычурно ответил Саблин, снова притянул к себе сестру, и та, улыбаясь, не сразу от него отстранилась.

– Перестань.

В этом негромком, интимно произнесенном «перестань», в смеющихся, полуоткрытых, недотянувшихся до ее виска губах Саблина померещилось Коробейникову что-то запретное и порочное. Головокружение его продолжалось. Женская золотистая голова была охвачена прозрачным свечением, какое бывает в кроне солнечных осенних деревьев.

– Как вы можете сидеть в такой духоте? – спросила она. – Еще чуть-чуть – и вы упадете в обморок. Мне кажется, вам обоим нужен свежий воздух.

– Ты пахнешь дождем. – Саблин приблизил к сестре свои узкие звериные ноздри. – Нас действительно здесь ничто не удерживает. Мы можем идти.

Они покинули Дом литераторов. Ступая за женщиной, глядя, как погружаются в бесшумный ковер ее высокие каблуки, как мягко и красиво колыхается ее голова, Коробейников изумлялся этому бестелесному, сильному, словно удар электричества, прикосновению, зная, что ничего подобного прежде он не испытывал.

Глава 7

На улице шумно и великолепно шел дождь. Москва казалась огромным сверкающим кристаллом черного кварца, в котором переливались светофоры, плыли ртутно-белые, с глубоким отражением фары, нежно туманились белоснежные фасады, легкие, эфемерные, словно толпы испуганных насекомых, летели по тротуарам перепончатые глазированные зонтики.

– Поймай такси, – сказала брату Елена, прижимаясь к нему.

Тот, промокая, весело воздел над ней белую ладонь.

– У меня машина, – сказал Коробейников, кивая на красный среди черного блеска «москвич» под высоким оранжевым фонарем.

– Мишель тебя подвезет, он очень любезен, – улыбнулся Саблин, убирая ладонь над золотистой женской головой, словно лишал ее покровительства, передавал Коробейникову вместе с дождем, нежным отражением белого особняка, зеленым, утонувшем в черной глубине огнем светофора, – ему по пути, подбросит тебя на Сретенку.

– Мне, право, неловко, – произнесла Елена, зябко поводя высоким плечом, на котором намокал синий шелк.

Саблин легкомысленно махнул рукой. Быстро, легко стал удаляться. Кивнул издалека, посылая им обоим воздушный поцелуй, тая в дожде, исчезая среди разноцветных фонтанов, в толчее набегавших зонтиков.

– Прошу вас, – сказал Коробейников, подводя Елену к машине, открывая дверцу, пуская ее в глубину салона.

Они оказались в тесном, холодном пространстве автомобиля, окруженные стеклами, по которым струилась вода и скользил свет высокого оранжевого фонаря. Фонарь осветил складки ее шелкового платья, которое она подобрала, удобней усаживаясь, вытягивая ноги. Коробейников чувствовал волнуемый, миндальный запах ее духов. Исходящее от нее тепло и дыхание, от которых стали туманиться стекла. Особняк впереди, янтарно-белый, стал пропадать, превращаясь в размытое облако. Она подняла руку, проводя длинными, гибкими пальцами по золотистым, слегка потемневшим от влаги волосам. Ощупывала на затылке тугую, плетеный пучок с гребнем. В наклоне головы открылась близкая, дышащая шея. Пугаясь этой близкой ослепительной белизны, вдыхая аромат ее духов, видя, как натянулся синий шелк на ее бедре, Коробейников обморочно потянулся, желая поцеловать эту теплую доступную белизну, испытывая неодолимое влечение, головокружение, словно кто-то властный наклонял его голову, побуждал прикоснуться губами к восхитительной, манящей, открытой для него женской шее. И, чувствуя, что проваливается в упоительную бездну, пропадает среди синего шелка, разноцветной текущей воды, близких, уложенных на затылке волос, чудом удержался на последнем краю этой пропасти. Повис на хрупкой паутинке, раскачиваясь между ампирным особняком, синим шелком, оранжевым фонарем и близким, повернувшимся к нему насмешливым женским лицом.

– Мы едем? Вы, случайно, не потеряли ключи?

– Какие-то ключи потерял, – пробормотал он в изнеможении, слабым движением заводя машину.

Не понимал этот второй, последовавший вслед за первым обморок. Испытывал вторжение в свою жизнь неведомых, властных, смертельно опасных и восхитительно-сладостных сил, небывалых, ниспосланных ему состояний. Тронул машину, поведя ее по широкой блестящей дуге, выруливая с улицы Герцена на огненную Садовую. Почувствовал, как отнятая у него энергия вдруг снова вернулась в виде ликующей радости. Дождь, Москва, прелестная, едва знакомая женщина, оказавшаяся рядом с ним по воле загадочного Провидения.

И эти ослепительные, дарованные ему в наслаждение секунды, неповторимые и единственные, рассыпаны в его жизни, как переливы бриллиантов на черном бархате, за которые он славит Того, кто их даровал.

«Наваждение?.. Колдовство?.. Или, как говорили в старину, напущение?.. Значит, кто-то выбрал меня, внял моему ожиданию, моему предвосхищению чуда... Награждает меня драгоценным, желанным для художника опытом... Эту женщину придумал я сам, создал из моих мечтаний, помещаю в мой ненаписанный роман, делаю ее главной моей героиней... Она послушна мне, повинуется моей воле и прихоти... Мой обморок – ее первое появление в сюжете...»

Знакомый город, каким он привык его видеть, исчез, превратился в волшебные сполохи, трепещущие сияния, разноцветные радуги. Стеклоочиститель метался перед глазами, сбивая толстый слой воды, и тогда на мгновение открывались серебристое яйцо Планетария, лепная арка Зоологического сада, а потом громко, как из ведра, шлепало на стекло, и все застлало огненное павлинье перо, космато пылавшее среди черноты и блеска.

«Быть может, это зло, искушение, грозящее крушением всей моей жизни... Оно явилось в прельстительной красоте ее тонкого профиля, высокой обворожительной шеи, тяжелой золотистой корзины волос... Но я не стану отвергать искушение... Я художник, а не угрюмый аскет... Я соткал из голубого шелка ее полуоткрытое платье... Уложил в тяжелый пучок на затылке ее восхитительные волосы и воткнул в них гребень... Брызнул дурмящие духи на ее высокие плечи... Помог надеть на узкую стопу легкие узконосые туфли... В моем романе я опишу сцену нашего знакомства и этот чудесный полет в дожде...»

Его окружали галлюцинации, словно он испил возбуждающей сладкой отравы, надышался веселящего газа, был одурманен губительным и чудесным запахом ее духов. Идущие впереди автомобили слились в сплошную рубиновую реку, а навстречу выныривали из черноты белые яркие фары, как ртутные ядра, проносились с шипением у лица. Над площадью Маяковского висела огромная люстра неба, роняя подвески, которые падали и разбивались вокруг бронзового памятника, а тот истоиво, среди брызг и осколков, стоял стеклянный, светящийся, с прозрачным малиновым туловом.

«Но, быть может, я заблуждаюсь... Этот бездумный эстетизм отравит меня и убьет... Сюжет романа неведом... Он правит мной, а не я им... Он меня создает, а не я его... Своей тайной властью, в последней, неведомой мне главе он убьет меня... Отдавшись на волю романа, я пишу мою смерть... Недаром наше знакомство случилось под изображением прельстителя Бафомета, губителя человеческих душ, которому я, художник, вручил сюжет, обольщенный красотой этой женщины...»

Его зрачки металась по сторонам, почти не следя за ходом машины, обрели волшебное зрение, словно в вену тончайшей иглой впрыснули из крохотной ампулы возбуждающий наркотик, превративший Москву в фантастический город без людей, с разноцветными колоннами света, с дивным изумрудом деревьев, в каждом из которых горел светильник, окруженный водяными радугами. Так в цветных сновидениях выглядел рай с невиданной растительностью, возносящей к черным пульсирующим небесам дивные соцветия, живые лучистые звезды, огромные трепетные лепестки. Так выглядели ожившие города архитектора Шмелева, улетающие цветными прозрачными башнями в дышащий космос, опрокидывающиеся в черную бездну огненные корневища. Зрелище преображенного города восхищало и пьянило его. То возникала вдалеке огромная плавающая тарелка, приземлившаяся на Садово-Каретной, у Эрмитажа. То устремлялась в небо прозрачная сосулька небоскреба, охваченная голубым сиянием. Он благодарил неведомого волшебника, преобразившего город. Благоговел перед восхитительной женщиной, которая улыбается своими разноцветными колдовскими глазами, показывая ему чудо преображения.

«Еще не поздно... Еще не написана первая строчка романа... Это всего лишь случайный, необязательный образ, который можно отринуть... Призову на помощь благие силы, которые спасали меня не раз... Милое, родное лицо жены, наивные и чудесные лица детей, седовласую и любимую голову бабушки... Наваждение канет – мы просто катим в автомобиле по ночной дождливой Москве, сейчас остановимся у красного светофора, который через секунду превратится в золотой и зеленый, я остановлюсь у дома, который укажет мне эта случайная попутчица, с легким поклоном выпущу ее у подъезда и прощусь навсегда...»

Было мгновение, у Самотеки, на огненном перекрестке, когда исчезло ощущение улицы с прямолинейным движением, а их обоих завертело в фантастическом завитке, поместило на головокружительную карусель, среди музыки, пышных салютов, шелестящих стоцветных фонтанов. Они сидели не в автомобиле, а в тесной люльке на блестящих звонких цепях, перед ними и сзади по кругу мчались золоченые, разукрашенные лошади, верблюды в полосатых попонах, слоны с нарядными балдахинами, старинные дилижансы и космические ракеты. Их игрушечный красный автомобиль несся по кругу, и женщина прижималась к нему пугливым плечом.

«Оставить сомнения... Искусство и есть то, дарованное Богом умение, которым я познаю бытие от своего рождения до смерти... Если дьявол меня искушает, я опишу искусителя, покорю, набросив на него искусные тенета романа... Я, художник, лишь тем и угоден Творцу, что познаю этот загадочный мир, где неотличимы зло и добро, как неотличимы лик и его отражение в зеркале... Где любовь ведет к страданию и смерти, а бессмертие недостижимо без красоты... Не стану менять ничего... Запомню и нанесу на белый бумажный лист мои сомнения, мысль о красоте и бессмертии, ощущение безудержной карусели, которую раскручивает в мироздании Великий Художник...»

Город казался огромным праздничным аттракционом, с пугающе-сладкими падениями и взлетами, с фонтанами алого и золотого вина, с качелями, пронесившими их над мокрыми перламутровыми крышами, золотом ночных куполов, над купами скверов, в которых, нахохленные, мокрые, притаились московские вороны, разноцветные, как тропические попугаи. У Цветного бульвара, молниеносно оглядываясь на соседку, увидел, как за ее головой, в затуманенном стекле открывается далекое пространство, и на нем кипит карнавал, танцуют пленительные полуобнаженные женщины, раскачиваются смешные размалеванные великаны, пляшут яркие маски, порхают громадные бабочки, по головам ликующей толпы катится огромный голубой и прозрачный шар, в котором, словно в икринке, притаилась серебряная рыба.

«Да будет, как есть... Все уже началось... Для меня, для нее... Мы оба ступили в роман, и оба его напишем... Искусство выше, чем жизнь... И мы летим в высоту...»

Кто-то летел над ними, яркий, как скоморох, дул в золоченую дудку, колотил в звонкий бубен, брнчал бубенцами, не отпускал, колдовал, плескал в стекло машины разноцветными брызгами. Колдун, веселый кудесник, ворожил, обольщал и морочил. Уводил с основной дороги, заставляя плутать по незнакомым переулкам и улочкам, по неведомым тропкам, открывая в Москве невиданные, небывалые пространства: оранжево-бездонный американский каньон, голубые, в розовых льдах Гималаи, бескрайнюю, седую от трав саванну. И вдруг они отрывались от брнной земли, взмывали свечой к небесам и мчались в черном, с размытыми звездами космосе. Мимо них проносились желтые луны ночных фонарей, цветные планеты дорожных знаков, ворохи размытых реклам, напоминающие хвосты комет. К стеклу их машины прилипали на мгновение нестрашные чудища других миров, стоглазые и многоногие, как розовые осьминоги и медузы.

– Здесь нам нужно свернуть, – сказала она, возвращая его из восхитительного стоцветного бреда на угол Садовой и Сретенки, – здесь мой дом.

Они вкатили в тесную арку и оказались в глубоком дворе, окруженном высокими мрачными домами купеческой московской постройки с желтыми, уходящими вверх окнами. Остановились у подъезда с тяжелой резной дверью. Тут же, во дворе, среди черных дрожащих от дождя луж, гремящих водостоков, размытых отражений стояли глазированные темные «Волги». Сквозь запотелые стекла угадывались терпеливые дремлющие водители.

– Как хорошо вы меня домчали, – благодарила она, и на губах ее блуждала слабая улыбка, какая остается на лице после счастливого отлетевшего сна.

– Жаль, что вы так близко живете. Дождь еще идет, Москва все такая же волшебная, но мы уже приехали.

– Не предполагалось, что нам предстоит такая прогулка. Ничто не предвещало нашей встречи.

– За секунду до вашего появления я думал о вас. Думал о девочке в прозрачном солнечном платье и красных матерчатых туфельках на веранде крымской дачи, к которой подкатывает черный длинный лимузин.

– Это брат рассказал? Он большой фантазер и неутомимый рассказчик. Он влюблен в вас, много мне о вас говорил. Но берегитесь, не всякий выдержит бремя этой любви.

– Вы похожи на брата чертами лица, статью. Быть может, и нравом.

– Нет, я совсем другая. Брат – честолюбец, гордец, человек с уязвленной гордыней, который ищет реванша и готов ради этого на безумный поступок. А я – домашняя женщина, жена, хозяйка салона, в котором развлекаю умных мужчин, и поэтому запрещаю себе быть умной.

– Вам достаточно быть красивой.

– Брат говорил о вашей книге, которую прочитал с восхищением. Хотела бы и я прочитать.

– Как мне было знать, что мы познакомимся?

– Но, быть может, вы преподнесете мне ее при нашей следующей встрече?

– Мне не хочется сейчас расставаться!

Это вырвалось у него так искренне и наивно, что она посмотрела на него внимательно, чуть отстранив свое белеющее в темноте лицо с прямыми линиями золотистых бровей, под которыми глаза были цвета темно-фиолетовой, текущей вокруг воды с блестящими искрами отраженных окон.

– Можно не расставаться. Приглашаю вас подняться ко мне. У мужа гости. Быть может, вам будет интересно оказаться в их обществе.

Он вдруг испугался, словно кто-то невидимый положил на его воспаленный горячий лоб холодную руку. Их знакомство продолжалось не долее получаса. Состояло из магических сверканий, праздничных галлюцинаций, безумных фантазий, которые оборвались в этом темном дворе, где кто-то невидимый, вкрадчивый, остудил его лоб. Делал ему предупреждение. От чего-то уберегал. О чем-то предостерегал. Следовало внять этому неслышному голосу и вежливо отклонить приглашение. Выйти из автомобиля на дождь. Открыть ей дверцу. Увидеть, как медленно выносит она из машины свою длинную красивую ногу в остроносой туфле. Как на мгновение под откинутым шелком открывается круглое колено. Как появляется из салона лицо с восхитительными, меняющими цвет глазами. И он провожает ее до подъезда, ловя на прощание благодарную улыбку, где еще присутствует, но уже исчезает недавнее видение стоцветной Москвы, тает драгоценное, дарованное им на полчаса чудо, которое пронесли мимо них, словно пылающий волшебный фонарь. И уже готовясь произнести легкомысленно-отстраненным голосом слова прощания, которыми обрываются случайные необязательные знакомства, он вдруг радостно и жадно сказал:

– Конечно, принимаю ваше любезное приглашение...

Глава 8

Лифт поднял их на верхний этаж, и они оказались на просторной лестничной клетке со старинным кафелем стен, тяжеловесными, в чугунном литье, перилами, перед дорогой, красиво обитой дверью с медной пластиной и старинным фарфоровым звонком. Елена сильно, с решительной складочкой у бровей, нажала кнопку. Сквозь плотную, в пухлых ромбах обивку слышались шаги. Дверь распахнулась, и Коробейников увидел высокого грузного человека в вольной домашней блузе, белые, пышные волосы, лежащие тяжелой, до затылка, гривой, розовое мясистое лицо с крупным носом, какое бывает у здоровых жизнелюбивых стариков с неистраченной, требующей ублажения плотью. Глаза человека под косматыми седыми бровями, увидев Елену, радостно просияли, а потом вопросительно, с мягким недоумением, остановились на госте.

– Это Михаил Коробейников, писатель, друг Рудольфа. Мы только вчера говорили о нем, и ты захотел познакомиться. Случай представился. Михаил любезно доставил меня к тебе, и на мне ни одной дождинки. – Она на мгновение прижалась к мужу, проскальзывая в глубь прихожей, и это мимолетное домашнее прикосновение отозвалось на крупном толстоносом лице благодарной нежностью.

– Марк Солим, – благодушно и гостеприимно отступил хозяин, впуская Коробейникова, хватая его руку теплой мясистой ладонью. – Рудольф, этот пылкий человеконенавистник, говорил о вас с восхищением, поэтому я и сказал Елене: «Либо он еще больший злодей, чем твой брат, либо ангел во плоти».

Эта шутка, сопровождаемая доброжелательным взглядом голубых умных глаз, сильная большая рука, все еще тянувшая гостя в глубь прихожей, расположили Коробейникова, избавили его от чувства неловкости.

В квартире после мокрого ветра улицы, железных запахов лифта вкусно и сложно пахло дорогим табаком, синий дым от которого плавал в озаренной гостиной; винами и душистыми яствами, видневшимися в столовой на разоренном, уже оставленном гостями столе; благородными горьковатыми запахами старинных книг и живописных холстов, доносившимися из кабинета, где одна огромная стена была сплошь уставлена тесными книжными корешками, а на другой в сумраке висела картина с летящим в небесах петухом и какой-то крылатой девой – то ли Тышлер, то ли Шагал.

– Чувствуйте себя как дома. – Хозяин широким жестом, заслоня просторным рукавом блузы тонкую приоткрытую щель в спальню, где что-то нежно розовело и переливалось, направил Коробейникова в голубоватый дым гостиной.

В высокой, кубической, с лепным потолком гостиной под сверкающей люстрой на свободно расставленных креслах, широком диване, удобных, мягких, без спинок седалищах разместились гости, разгоряченные едой, напитками, дружеской, необязательной и веселой беседой, какая завязывается между близкими людьми после нескольких рюмок водки или бокалов вина, способствующих воспарению воздушей. Посреди гостиной стояла изящная тумбочка на колесиках, на ней утвердилась большая влажная бутылка виски с цветным ярлыком и темно-золотым содержимым, фарфоровая вазочка с надтреснутыми орехами миндаля, лежало несколько пачек сигарет с изображением величавого верблюда. В руках у гостей были толстые стаканы, из которых те делали маленькие долгие глотки, орошая драгоценным напитком губы и языки, наслаждаясь горьковатым жжением. Перед каждым на полу, на блестящем паркете, или на толстом иранском ковре, или на пышной, прекрасно выделанной овечьей шкуре, стояли пепельницы – хрустальные, в виде витых перламутровых ракушек, китайских эмалевых блюдец, затейливых из черного африканского дерева чашечек, каменных выточенных плошек. Коробейникову показалось, что каждая пепельница служит фети-

шем или ритуальным предметом, с которым соотносится тот или иной гость, дымящий американской дорогой сигаретой.

– Михаил Коробейников, знакомый Лены. – Хозяин радушно представил новоявленного гостя всему собранию.

Тот сделал общий поклон в разные углы гостиной, не обременяя рукопожатиями лениво рассевшихся собеседников. Направился к дивану, где было свободное место. Опустился рядом с миловидным молодым человеком, чья приветливая улыбка, тонкие черты лица, красиво и вольно распушенный шелковый галстук сразу понравились Коробейникову. Марк Солим, ожидая, когда сомкнется распавшаяся благодушная атмосфера, потревоженная нечаянным вторжением, продолжал какую-то увлекательную, прерванную историю.

– Итак, на чем я остановился? Ах да... Перед нами, собравшимися, на невысоком подиуме возвышается женская фигура, укутанная в паранджу, вся в темных батистовых складках, под которыми мерещится пленительное тело восточной красавицы с маленькой точечной головкой, как если бы сейчас заиграла музыка и начался танец живота... – Солим, по видимому великолепный рассказчик, сделал паузу, завораживая слушателей, заставляя их с нетерпением ожидать продолжение. – И вот, вообразите себе, на подиум в лучах яркого света выходит сам хозяин этой великолепной венецианской виллы, маэстро Сальвадор Дали, в костюме средневекового испанского гранда: в панталонах, шелковых чулках, в лиловом камзоле с кружевными рукавами и пенистым пышным жабо. У пояса изящная шпага. На туфлях зеленые банты. Раскланивается, оглядывая нас своими кошачьими бешеными глазами. Хватает край паранджи и с силой сдирает. Под черным облачением вместо живой женской плоти мы видим белоснежную алебастровую Венеру Милосскую с ее совершенным античным торсом, чудными маленькими грудями и, заметьте себе, с обеими руками, в одной из которых она держит живую алую розу. Мы в восхищении ахаем!.. – Солим сделал широкий жест, словно демонстрировал гостям великолепие обнаженной фигуры, в чьей белоснежной руке пламенеет темно-красная роза. Гости вообразили эту картину, издав ожидаемые рассказчиком возгласы. – Маэстро, словно фокусник, извлекает из складок камзола маленький молоточек, делает им в воздухе замысловатые взмахи, словно пишет иероглифы волшебного заговора на таинственном языке, поворачивается к Венере и с силой бьет ее по голове молотком. Алебастр раскалывается, осыпается бесформенными белыми кусками, и под этой разрушенной оболочкой возникает ярко раскрашенная, из папье-маше статуя Христа, какими украшают алтари католических храмов...

Солим молитвенно сложил перед грудью ладони, изображая католика перед алтарем. Этот жест достоверно воспроизвел атмосферу католического богослужения в стрельчатом храме перед резным алтарем, на котором уставлены аляповатые, ярко раскрашенные фигуры Христа, Девы Марии, ангелов и апостолов. Коробейников отметил звериную пластичность немолодого грузного человека, в котором сохранилось много живой артистичности, умения очаровывать.

– Мы с благоговением взираем на маэстро, который смиренно склонился перед Христом, словно это его родной испанский собор в Толедо. И вдруг, прерывая поклонение, он свирепо бросается на Христа, когтями с хрустом и треском разрывает его картонные раскрашенные покровы, отбрасывает в стороны цветные клочья, и мы видим, что перед нами яркий, из нержавеющей стали скелет, жутко, ослепительно сияет полированным черепом, оскаленными зубами, тазовыми и берцовыми костями...

Кто-то из гостей, поверивший в достоверность метаморфозы, чуть было не выронил стакан с виски. Другой, напротив, сделал жадный хлюпающий глоток. Коробейников был очарован этим виртуозным рассказчиком, известным своими яркими выступлениями в центральных газетах на темы литературы, театра, живописи, любимцем утонченной еврейской интеллигенции, теоретиком культурной политики.

– И вот они стоят напротив друг друга, испанский гранд Сальватор Дали в лиловом камзоле, с рассыпанными до плеч волосами, и легированный, ярко-белый скелет в блеске операционной стали. Неожиданно маэстро выхватывает свою тонкую шпагу, делает выпад навстречу скелету, пронзает его острием. Там, где одна сталь коснулась другой, вспыхивает синяя трескучая молния, трепещет голубая вольтова дуга. Под ее воздействием скелет испаряется, превращается в сизый мерцающий дым, какой остается в небе во время салюта после взрыва шутихи. Маэстро замирает с поднятой шпагой, вокруг него мечутся и гаснут частицы мироздания, мерцают испепеленные, неуловимые для подражателей шедевры. Ускользают от коллекционеров и поклонников бесподобные образцы искусства... Таков он, наш великий Сальвадор Дали!.. – Солим эффектно тряхнул голубовато-белой гривой, театрально поклонился и был вознагражден аплодисментами и возгласами:

– Великолепно, Марк!

– Ты настоящий апостол Марк современного искусства!

– Эту историю ты должен описать в «Литературной газете», чтобы не лишиться интеллигенцию возможности восхищаться тобой!

Хозяин самодовольно улыбался, искренне переживая свой успех. Проществовал на середину комнаты. На треть наполнил виски тяжелый стакан. Поднес Коробейникову. Тот благодарно принял, смущаясь вниманием услужившего ему пожилого хозяина.

– Я несколько раз слышал его в аудиториях и могу вам сказать: он – лучший оратор Москвы, – обратился к Коробейникову его молодой сосед, протягивая руку и представляясь: – Андрей!

Называя в ответ свое имя, Коробейников отметил, какая сухая и легкая у соседа ладонь, какой приятный голос, как просто и доброжелательно прозвучала его похвала в адрес Марка.

– Я разделяю общую обеспокоенность той обстановкой, которая складывается у нас после подавления Пражской весны, – это произнес крупный, породистый гость с начинавшим жиреть подбородком, надменными красными губами и круглыми хищными глазами пресыщенного беркута, которыми он медленно обводил окружающих, словно лениво прицеливался, кого бы клюнуть горбатым, загнутым книзу носом. – Я имел возможность довести до сведения Дубчека, что преждевременные и непомерные амбиции чешских коллег будут пресечены по «венгерскому варианту», а это сведет на нет наши кропотливые усилия по смягчению курса как здесь, в Москве, так и в других столицах Восточной Европы.

– Это кто? – тихо спросил соседа Коробейников, прикрывая свои губы стаканом виски.

– Это доктор Ардатов, блестящий американец, чьи рекомендации чтут в аппарате ЦК. Его называют личным референтом генсека, и это весьма похоже на правду, – пояснил Коробейникову сосед, так же, как и он, прикрывая говорящие губы стаканом с золотистым напитком. И этот схожий жест, и тихая заговорщическая интонация еще больше их сблизили, расположили Коробейникова в пользу милого и весьма осведомленного человека.

– Теперь оживились наши «ястребы» в идеологическом и военном отделах. Сам видел на столе у генсека список лиц, подлежащих кадровой чистке. Среди них есть те, кого мы с таким трудом продвигали в начальники отделов, в главные редакторы, в руководители творческих союзов. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы уменьшить потери. Однако должен сразу сказать: потери неизбежны.

Это вкрадчивое заявление сделал худой, болезненный человек с пергаментным иссушенным лицом, на котором, казалось, никогда не росли борода и усы. Под тоскующими глазами уныло висели складки, похожие на маленькие пельмени. В редкую шевелюру глубоко врезались стеариновые залысины. Своим испитым страдальческим видом он напоминал скопца, тайно горюющего по утраченным наслаждениям, винящим в своем несчастье жизнелюбивых полноценных людей.

– А это кто? – спросил у соседа Коробейников.

– Помощник генсека Цукатов. Готовит документы перед заседаниями политбюро. Связан с Леонидом Ильичом не только функционально, но и психологически. Держит специальную аптечку с медикаментами, в которых так нуждается генсек.

Коробейников с острым вниманием рассматривал лица тех, кто составлял дружеский домашний кружок, собравшийся в «салоне Елены Солим», как в шутку поведала недавняя знакомая, по прихоти своей пустившая его в общество избранных. Ему, писателю, волей случая открывалась новая, недоступная для многих реальность. И он наблюдал ее и исследовал, надеясь описать в романе, еще не начатом.

На некоторое время в гостиной воцарилась тишина. Гости молча курили, стряхивая пепел, кто в перламутровый завиток раковины, кто в эмалированную пиалку, кто в черное, из африканского дерева блюдо. Казалось, все они совершают загадочное ритуальное действие, сопряженное с дымящимися благовониями, крохотными горстками праха, который они сыпали каждый в свою ритуальную урну.

– Наш дорогой Марк и сам не хуже Сальвадора Дали – мастер миражей, – произнес невысокий, кругловатый, большеголовый гость с коричневым, восточного вида лицом, пушистыми молодыми бровями, под которыми любовно взирали оливковые, с белыми точками глаза. Его чувственный нос напоминал небольшой, розоватый внутри хобот, где гулко рокотали и переливались слова. В открытой рубаше апаш курчавилась темная шерсть, в которой блестела тонкая золотая цепочка с какой-то восточной ладанкой.

– Это кто? – спросил у соседа Коробейников, вслушиваясь в странное звучание слов, пропущенных сквозь резонатор хобота и при этом слегка деформированных.

– Звезда востоковедения Приваков, – с уважением в голосе пояснил сосед. – Друг арабов, брат евреев, журналист и ученый, советский Лоуренс, составляющий рекомендации для МИДа по вопросам запутанной ближневосточной политики.

– Но я вам расскажу, как недавно увидел мираж пустыни и едва не отдал душу Аллаху, – продолжал Приваков, выдувая носом слова, словно выбулькивал их из-под воды. – Это было в нынешнем мае в Сахаре, когда я посещал бедуинов, выполняя деликатное поручение нашего Генштаба. Ехал на верблюде, укутанный в бурнус, в белой бедуинской накидке, при жаре в тридцать градусов, по раскаленным барханам, в сопровождении проводника. – Он обвел всех внимательными глазами цвета спелых маслин с дрожащей искоркой света, желая убедиться, что вполне завладел вниманием слушателей. – Представляете, непрерывное колыхание кварцевых бесцветных песков. Каждая песчинка направляет в тебя тончайший лучик солнца, прокалывает этим лучиком твою одежду, кожу, впивается в плоть и убивает там кровяную частичку. Ты чувствуешь, как в тебе сворачивается кровь. Вокруг солнца плывут фиолетовые и оранжевые кольца. Верблюд ступает в песках на своих широких растопыренных пальцах, укачивает тебя, как в колыбели. Уже много часов вижу перед собой его пыльный выцветший мех, грязную цветную тряпицу, на которой висит бубенец, издавая заунывное дребезжание...

Коробейников отдавал должное рассказчику, обладавшему, по-видимому, даром гипнотизера. Так действовал его вибрирующий, булькающий голос, мягкое, чуткое шевеление розоватых ноздрей, внимательный и любовный взгляд фиолетовых, с серебряной искоркой глаз.

– И вот передо мною видение. Огромный живой город в пустыне, с великолепием дворцов, с бирюзовыми куполами мечетей, с изразцовым блеском изумрудных минаретов. Вижу базарную площадь, наполненную смуглой разноликой толпой. Прилавки с гранатами, виноградом, сочными овощами и фруктами. Вижу ловких торговцев с медными весами, куда они сыплют миндаль и изюм. Воинов в турбанах, стоящих на крепостной стене у старинных бронзовых пушек. В этом городе цветут восхитительные сады, качаются пальмы, текут драгоценные ручьи, и я вижу, как летит сносимая ветром прозрачная кисея серебристых фон-

танов. Я вижу воду повсюду: в бассейнах, в арыках, в чудесных ручьях, откуда ее черпают ковшами молодые смуглые женщины, переливая в глиняные кувшины. Слышу звук воды, ловлю ее запах, тянусь на эти восхитительные серебряные пузыри и... теряю сознание от теплового удара.

Коробейников восхищался рассказчиком, пережившим чудесное видение в опасном и далеком странствии, которое он, разведчик и исследователь, предпринимал, находясь на государственной службе. И быть может, наступят времена, когда и он, Коробейников, в чалме, в долгополом балахоне, станет пробираться горной тропой, ставя заостренный чувяк на шаткий камень, глядя, как внизу пробирается цепочка восточных всадников, как блестят за их спинами карабины, слыша гулкое, летящее по ущелью эхо выстрела.

— Я очнулся на кошке под белым пологом, который заботливо натянул надо мной проводник. Он стоял рядом перед раскрытой дорожной сумой. Извлек из нее небольшую каменную ступку с каменным пестиком. Достал из жестяной коробочки два или три черных жареных зернышка кофе. Долго тщательно тер, превращая ядрышки в мельчайшую пудру. Ссыпал порошок в крохотный ковшик с ручкой, налил из флакончика малую толику воды, кинул большой кусок сахара и поставил все это на спиртовку, где запалил голубоватый прозрачный язычок сухого спирта. Скоро напиток вскипел. Я уловил божественный аромат душистого кофе. Бедуин налил мне густой, как деготь, тягучий смоляной отвар в крохотную, подобно наперстку, чашечку. Я коснулся языком этой сладости, этой душистой и восхитительной горечи. Выпил кофе и мгновенно почувствовал свежесть, прилив бодрых сил. Мог встать, взгромоздиться на верблюда. И мы снова продолжили путь по Сахаре под заунывный звон бубенцов...

Приваков завершил рассказ, обводя друзей внимательным благосклонным взором, принимая от них дань поклонения. Коробейникову, не скрывавшему свое восхищение, казалось, что собравшиеся люди разыгрывают загадочное театральное действо, включавшее в себя эти изящные повествования, изысканную декламацию, которыми они награждают друг друга, придавая общению эстетическую утонченность.

— Я предчувствую, что чешские события и реакция на них нашей интеллигенции вновь увеличат число диссидентов и, не дай бог, повлекут за собой репрессии. Надо не допустить слишком жестоких мер, не допустить арестов. В конце концов, неугодных можно на некоторый период выслать за границу, до изменения политического климата, когда они снова смогут вернуться.

Это произнес из кресла пухлый маленький гость, сложивший крестом короткие толстые ножки. Под его красноватым, как клубенок, носом висели рыжие моржовые усы, потерявшие свой темный цвет от частого макания в пивную кружку. Та же пивная одутловатость была на его сизом лице с оттопыренной нижней губой и выпученными тревожными глазами.

— Кто это? — обратился к соседу Коробейников, стараясь припомнить, кому принадлежало это знакомое, голубоватосизое от чрезмерных пивных возлияний лицо.

— Вы наверняка его знаете, — ответил сосед, назвавшийся Андреем, — ваш коллега, обозреватель «Известий» Бобин. Говорят, содержание его статей является прямым результатом личных бесед с генеральным секретарем.

— Мы должны ожидать, что предполагаемые утеснения либеральной части интеллигенции, условно говоря, «западников», приведут к оживлению «русистов», «славянофилов», — озабоченно произнес Марк Солим. Его розовое мясистое лицо утратило благодушно-легкомысленное выражение, обрело странную двойственность, состоящую из тревожной печали и сосредоточенной жесткости. — Смею полагать, что партийные «ястребы» воспользуются нарушением баланса для поощрения антисемитизма, который свил гнезда в известных литературных журналах, в военных кругах и даже в некоторых отделах ЦК. Мы должны сделать все, чтобы сохранить равновесие...

– Такое равновесие может быть сохранено лишь на макроуровне, – произнес доктор Ардатов, поводя круглыми глазами утомленного беркута, на которые вдруг опадала выпуклая желтоватая пленка. Было видно, что затронутые темы являются предметом тщательного обдумывания, от которого слегка раздувался его зоб и наклонялся в сторону хищный загнутый нос. – Срыв либерального процесса в Восточной Европе приведет к обострению советско-американских отношений. К замораживанию наших осторожных преобразований в самом Советском Союзе. К усилению ортодоксальных тенденций в партийном руководстве. Этот сдвиг можно компенсировать, добившись, например, кризиса в советско-китайских отношениях, который испугает общество китайской угрозой, возможностью культурной революции по китайскому образцу и вновь качнет маятник советской политики в сторону Запада...

У Коробейникова, внимавшего малопонятым речам, не умевшего разгадать намеки произносимых суждений, возникало странное ощущение от кружка, куда привел его случай. Здесь встретились блестящие люди, прекрасные рассказчики и легкомысленные краснобаи, знатоки искусств и любители сладких яств. В домашнем кругу милых друзей они отдыхали от изнурительных дел, мучительной и опасной политики, обременительного служения. Однако среди увлекательного и праздного красноречия, дорогих напитков и вкусных Табаков начинало мерещиться иное содержание их бесед, иной сокровенный смысл их встречи. Они казались таинственными работниками, законспирированными заговорщиками, вкрадчивыми соглядатаями. От каждого тянулись невидимые связи, неуловимые рычаги, неощутимо тонкие нити, соединявшие их с огромной, мощной машиной власти, неповоротливой и слепой, медленно и неуклонно совершающей свою угрюмую работу. Они были умные машинисты, умелые смазчики, вкрадчивые и старательные часовщики, обслуживающие эту машину. Знали ее рычаги и колеса, зацепления ее зубцов, устройство валов и пружин. Слабым нажатием, своевременной каплей масла, легчайшим толчком чуть меняли скорость колес, напряжение пружин, направление мерного могучего хода. Они были тайные советники тех, кто представлялся Коробейникову молчаливыми великанами Баамиана. Открывали каменные веки дремлющих исполинов. Растворяли их тяжкие сомкнутые уста. Переводили на язык людей угрюмый гул ветра в их каменных складках. Они были жрецы, совершавшие магический, непонятный смертным обряд, фонарики, возжигавшие в ущельях гор таинственные светочи. От их властных, утомленных всеведением лиц веяло древними знаниями, забытыми верованиями и языками. Дым от их сигарет оведал растресканные алтари отвергнутых богов и кумиров. Пепельницы у их ног были жертвенными саркофагами, куда падал пепел истлевших эпох.

– Простите, Андрей, а чем занимаетесь вы? – Коробейников обратился к соседу, чье милое, с застенчивой улыбкой лицо было столь не похоже на величавые лики жрецов.

– Работаю в аналитическом центре, изучаю статистику. Ничего интересного, – был ответ, который сопровождала все та же приятная, чуть стеснительная улыбка, делавшая ее хозяина случайным лицом среди властных вельможных советников.

– Я вспомнил историю, случившуюся не столь давно, позволяющую понять, как макропроцессы международной политики управляются на микроуровне, – сказал Бобин, разглаживая свои вислые, цвета желтой мочалки усы, чтобы они не мешали произносить слова. – Я был послан в Западную Германию, в Бонн, где проходил малый съезд Социнтерна, руководителем которого, как вы знаете, был Вилли Брандт. Он уже тогда рассматривался как кандидат на пост федерального канцлера. Мне поручили провести с ним приватные переговоры. (Бобин, затеяв рассказ, оживился. Лицо его утратило голубоватую одутловатость, похудело и похорошело. Глаза перестали казаться тупо выпуклыми, сузились и лучисто блестели. Видимо, воспоминание доставляло ему удовольствие.) Я терпеливо и добросовестно выслушал все скучные выступления съезда, которые переводила очаровательная, сопутствующая

мне переводчица Наташа, блестяще владевшая немецким. Вечером в загородном ресторане, на берегу Рейна, состоялся ужин в узком кругу с Вилли Брандтом. Я передал ему послание секретаря ЦК. Мы откровенно обсуждали вопросы советско-германских отношений, в частности возможность их смягчения в случае избрания Брандта канцлером. Он был очень оживлен, хорош собой: золотистые волосы, голубые глаза, волевой арийский подбородок. Одет изумительно, в великолепный костюм с розовым шелковым галстуком, в котором, едва заметная, вколота маленькая золотая булавка с бриллиантом. – Бобин поднял короткие пальцы, глядя на них сквозь люстру, и Коробейникову почудилось, что он держит сверкающий драгоценный бриллиант. – Наташа переводила, угадывая и воспроизводя самые тонкие его интонации. Было видно, что она ему нравится, он ею увлечен, говорит для нее. Ибо переводчицы и те, кого они переводят, составляют классические пары. Такие, как художник и натурщица, писатель и редактор, жертва и палач. Сочетаются один с другим на глубочайшем чувственном и психологическом уровне. – Бобин преобразился. Пропала осовелость, болезненная полнота и брюзгливость. Открылся изумительный рассказчик, тонкий интеллект, виртуозный дипломат, выполняющий деликатные поручения. – Кончилось тем, что Брандт поднялся и произнес тост за красоту русских женщин. Чокнулся шампанским с Наташей. Поцеловал ее тонкое запястье с голубоватой девственной жилкой. Оркестр, который до этой минуты скрывался в тени, наполняя ресторан едва различимой музыкой, внезапно озарился и грянул танго. Брандт пригласил Наташу. Они вышли на середину зала. Он – стройный сухопарый красавец. Она – прелестная, грациозная, юная. Стали танцевать. Так танцуют мастера балных танцев, со всеми изысками, поворотами, страстными пируэтными, трагическими падениями навзничь. Они были как две птицы, танцующие брачный танец. Как влюбленные, переживающие чудо соития. Наташа великолепно, артистически двигалась, словно балерина. Брандт не уступал ей, похожий на конкурсного танцора. Когда музыка смолкла, все аплодировали. Брандт преподнес Наташе букет цветов. Мы расстались с немцами, уехали в отель. Я простился с Наташей в холле, поднялся к себе. Намешал мартины со льдом, подошел к окну и увидел, как подкатил великолепный черный «мерседес», из дверей отеля выпорхнула Наташа, села в машину и укатила. Утром, когда мы встретились за завтраком, она была мила, очаровательна. Рассказала, что танцы – ее детская страсть, она хотела стать балериной. Вдруг я увидел на воротнике ее платья тонкую золотую булавку с крохотным, как росинка, бриллиантом. Понял, к кому она укатила в ночь на черном «мерседесе». Позже, в Москве, я случайно узнал, что Наташа – майор КГБ...

Все аплодировали, одобряли рассказ, тянули из стаканов виски.

– Я знаю, формируется делегация Комитета в защиту мира в Бельгию и Нидерланды. Прошу включить в нее двух моих людей, специалистов по европейскому авангарду, – произнес Марк Солим, обращаясь к Цукатову, который тихо кивнул усохшей белесой головой (на его пергаментном лице с бесцветными губами мелькнула слабая тень согласия).

– Мы в прошлый раз обсуждали кандидатуры двух заместителей главных редакторов и ни к чему не пришли, – пробубльнул своим толстеньким розовым хоботком Приваков, – непростительное промедление. Борьба за газеты и журналы обостряется, и мы не должны допустить, чтобы во втором эшелоне редакций укрепились «славянофилы».

– Кстати, о «славянофилах», – подхватил его мысль доктор Ардагов, и его дремлющие, полуприкрытые желтой кожей глаза жарко раскрылись, сверкнули неусыпной и страстной зоркостью. – Выдвинуты претенденты на соискание Государственных премий в области литературы и искусства. Я просматривал списки. Явный перекося в сторону «славянофилов». Необходимо включить по крайней мере писателя и актера, разделяющих наши убеждения.

Все согласно кивали, одновременно затягивались сигаретами, отпивали из толстых стаканов. Приваков заостренными пальцами ловко расщеплял миндальный орешек, выколупывал зеленоватое ядрышко. Уронил на ковер две пустые костяные дольки.

Коробейников наблюдал и вслушивался, угадывая истинный смысл этого небольшого салона, куда ему удалось заглянуть, быть может, единственный раз в жизни. Эти отдыхающие, праздные люди и в домашней обстановке находились в непрерывной работе. Как трудолюбивые деятельные муравьи, что-то неустанно собирали, скапливали, склеивали. По крошкам, по малым крупичкам возводили муравейник, наполняя живой, искусно продуманной архитектурой жесткие бетонные полости государственного строения. Снаружи эти мощные, помпезные стены украшали гербы и эмблемы, барельефы с лепными солдатами, рабочими и колхозницами. А внутри все тихо шуршало, слабо поблескивало от неустанной работы трудолюбивых муравьев, возводивших под покровом угрюмых фасадов свой затейливый муравьиный дворец.

— Мы должны понимать, что, по мере того как разрастается схватка между «западниками» и «славянофилами», начинает проседать основная идеология. У нее все меньше и меньше талантливых выразителей. А это опасно и нежелательно. Задуманные нами преобразования возможны только в рамках господствующей идеологии. Направлены на ее эволюцию. А если она просядет или, не дай бог, исчезнет, то наружу вылезут такие монстры, такие палеонтологические реликты, что никакой Берия с ними не справится, — тихим, чуть надтреснутым голосом произнес Цукатов.

Его иссушенное, без следов растительности, утомленное лицо, комочки несвежей кожи под бесцветными вялыми глазами не мешали ему выражаться точно и властно. В этом тесном кружке единомышленников он выглядел неназванным лидером, теснее прочих приближенным к сокровенному центру власти. Бумаги, которые в красных аккуратных папочках он клал на пустынный зеленый стол генсека, таили в себе, как водяные знаки, невидимый отпечаток этих домашних бдений. Тихий шелест бумаг превращался в грохот гигантских строек, рев бомбардировщиков, государственные перевороты и войны. И в каждом взрыве, сдвигавшем границы стран, толкавшем вперед грозную историю века, были малые поправки, неуловимые смещения, вносимые этими незаметными миру советниками, чьи слабые голоса были неразличимы среди рева машин и армий.

— В этой связи хочу обратить внимание на недавнюю публикацию нашего молодого гостя. — Цукатов направил на Коробейникова свои выцветшие глаза, напоминавшие сухие васильки, долгое время пролежавшие в толстой книге. — Ваша блестящая статья об архитекторе-футурологе Шмелеве, о будущем советской цивилизации снимает конфликт «славянофилов» и «западников». Возвращает нашей базовой идеологии присущее ей дерзание, устремленность в будущее, футурологический, свойственный коммунистам пафос.

Коробейникова эта фраза застигла врасплох. Он казался себе случайным соглядатаем, ненужным и обременительным посетителем, кого курьезные обстоятельства на краткий момент занесли в круг избранных. Но, оказывается, о нем здесь знали, его работы учитывались. Как малый элемент они вносились в общее здание, возводимое этими искусными архитекторами.

— Статья в самом деле вызвала интерес своей свежестью, обилием новых мыслей, энергичным и ярким стилем. — Бобин одобрительно качал одутловатой головой с коричнево-рыжими, жигулевскими усами. — Я положил ее на стол к одному из секретарей ЦК. Он ее прочтет обязательно.

— Над чем вы сейчас работаете? Мне кажется, заявленная вами тема далеко не исчерпана.

Хищные, с ястребиной желтизной, глаза Ардатова смотрели в лицо Коробейникова, и он почувствовал их давление, как если бы в переносицу ему был направлен снайперский прицел.

Изумление Коробейникова росло. Возникло ощущение, что его здесь ждали. Ему устраивали смотрины. К моменту его появления главные темы были исчерпаны. Главные

вопросы этого домашнего неформального заседания были решены, и после ужина, после основной дискуссии, его, Коробейникова, подавали на десерт. Но это ощущение было мимолетным, – газета, в которой он работал, была влиятельной и читаемой. Его статья, написанная не без блеска, была доступна вниманию множества влиятельных персон. И в этом он сейчас убеждался.

– Архитектор Шмелев – выдающийся мыслитель, – произнес Коробейников. – Он один – целая архитектурная и философская школа. Он проектирует не отдельную квартиру, не отдельный дом и даже не отдельный город. Он проектирует цивилизацию в целом.

Коробейников несмело и осторожно рассматривал внимавших ему жрецов, опасаясь разочаровать их вялым, неинтересным суждением или насторожить неверно произнесенной сентенцией. И вдруг пережил странное откровение, данное ему не разумом, а чуткой прозорливостью. Понял, чего от него ждут. Угадал тот узкий, направленный коридор, который ему предлагали окружавшие его мудрецы. Приглашали ступить в этот узкий коридор. Сомневались в его проницательности. И их наставленные лбы, нацеленные глаза подталкивали его в направлении этого коридора.

– Шмелев неумоимо изучает развитие индустрии, посещает крупные промышленные центры и вахтные нефтяные поселки. Исследует миграционные процессы в Казахстане, Сибири и на Дальнем Востоке. Его взгляды есть синтез технического прогресса, новейших представлений о человеке, сгусток идей, с помощью которых он описывает новый, назревший этап нашей социалистической цивилизации. Дает название многим вещам, данным в предощущении. Он формирует образ будущего, как его представляли отцы коммунистического учения.

По выражению лиц, по едва уловимым движениям глаз, бровей и носов, по слабому шевелению губ, от которых увели сигареты, позволяя им тихо тлеть, Коробейников понял, что угадал ожидания. Шагнул в узкий, предоставленный ему коридор. Ступает по нему, окруженный с двух сторон выпуклыми животами, наставленными подбородками, властно насупленными бровями влиятельных партийцев, высокомерных генералов, утомленных вельмож, напоминавших каменные скульптуры египетского храма, на головах которых покоится тяжкая плита. Еще не обремененный этой непомерной тяжестью, он шагает в узком зазоре туда, откуда брезжит таинственный блуждающий свет.

– Эти воззрения Шмелев воплотил в футурологическом проекте, который мечтает повезти в Японию, в Осаку, на Всемирную выставку, чтобы там представлять футурологическую философию СССР. Города будущего как порождение нашей неповторимой цивилизации. Однако чиновники создают проекту препятствия. И скорее всего, из-за бюрократических проволочек, проект не попадет в Японию.

Коробейников был абсолютно уверен в правильности произнесенных слов, продвигавших его в глубину коридора, вдоль каменной колоннады недвижимых фигур, придавленных страшной тяжестью огромной плиты. Он был свободен и не обременен. Был художник, идущий своим загадочным вольным путем, часть которого пролегла под сводами храма, среди окаменелых государственников, утомленных вельмож и жрецов. Он пройдет сквозь храм, выйдет по другую его сторону, и путь его ляжет по лугам, по горным тропам, по площадям и бульварам мировых столиц, по побережьям мировых океанов.

– А по какому ведомству направляется в Осаку проект Шмелева? – поинтересовался Цукатов.

– Насколько я знаю, по линии Академии наук, – ответил Коробейников.

– Постараемся сделать, что в наших силах. – На пергаментном лице советника слабо процвела и померкла улыбка, будто появился и канул водяной прозрачный иероглиф.

Коробейников оглянулся. В дверях, прислонившись к косяку, стояла Елена, уже не в голубом, а в нежно-сером платье, в которое облачилась, совлекая с себя синий, увлажненный

дождем шелк, укрывшись в нежно-розовой глубине спальни. Ее глаза лучисто переливались, поощряли Коробейникова, вдохновляли, к чему-то побуждали. Желали ему немедленного успеха. Подсказывали, что он должен для этого сделать. И, вдохновляясь ее прозрачно-зелеными, изумрудными глазами, он снова пережил момент ясновидения, по наитию угадывая то, что от него ожидали. Что должен он произнести в кругу этих тонких игроков, вельможных краснобаев, чтецов пергаментных свитков, переписчиков священных книг, часовщиков спасских курантов, звездочетов, поддерживающих рубиновый свет в кремлевских пентаграммах.

— Со Шмелевым мы путешествовали в Казахстане, исследуя бурное развитие городов вокруг гигантских электростанций, металлургических комбинатов, угольных разрезов, военных полигонов. Он изучал движение огромных масс населения из русского центра в целинные степи, в зоны индустриального бума. Его интересовали смешанные браки, в которых рождалась новая, как он говорил, «советская раса». Круговорот ресурсов, когда иртышская вода поила заводы Темиртау, целинный хлеб питал гарнизоны Заполярья, дешевое электричество Ермака вращало моторы на авиационных предприятиях Омска, складываясь в огромную машину пространств. Он рассуждал о техносфере, которая разумно и гармонично взаимодействует с природой, не враждуя с ней, а сливаясь в долгожданный синтез. — Коробейников видел, как испытующе смотрят на него гости, ожидая какой-нибудь неточности или ошибки, после которой могла наступить потеря к нему интереса. Изумрудные глаза Елены вдохновляли его, и он чувствовал их лучистый, слепящий блеск. — В этих рассуждениях о техносфере и природе мы оказались на крохотном аэродроме, пропустив все гражданские рейсы, потеряв всякую надежду выбраться из глухомани. На травяном поле стоял двухмоторный грузовой самолет. Молоденький пилот в форме и белоснежной рубашке шел из дощатого здания порта к своей кургузой машине. Мы попросились на борт. Он усмехнулся: «Если вас не смущают попутчики, то садитесь». Мы заглянули в фюзеляж, и что бы вы думали? На клепаном полу среди шпангоутов стояли два огромных буро-красных быка, тупые, глазастые, с острыми рогами, липкой слюной на губах. «Везем производителей в целинный совхоз. Там их ждет не дождется стадо», — сообщил жизнерадостный летчик. Запустил нас в глубь фюзеляжа, закрыл за нами округлую дверь. Мы остались с быками, с их жарким влажным дыханием, угрюмыми взглядами, кровавыми белками. Под брюхо быков были подвешены кожаные попоны, прикрепленные стальными тросиками к потолку. «Это и есть синтез природы и техносферы», — воодушевленно заметил Шмелев. — Коробейников видел, как весело зажглись ястребиные глаза Ардатов, как заинтересованно потянулся к нему розовый хоботок Привакова, как распушились от удовольствия ячменные усы Бобина, и выцветшие, белесые васильки Цукатова налились едва заметной синевой. — Самолет запустил винты, разбежался, взлетел. Быки колыхнулись, в одну, в другую сторону, страшно взревели и взбунтовались. Они чувствовали, что над ними совершают небывалое, несусветное насилие. Их отрывают от родных лугов, душистых цветов, чистых ручьев и любимых коров. Их уносят в небеса и, быть может, они уже никогда не вернуться на землю, а останутся на орбите, посылая на землю свои позывные: «Му-у-у!» Они решили, что мы со Шмелевым являемся главными виновниками их несчастья, и двинулись на нас. Били копытами клепаный пол самолета. Крушили рогами алюминиевую обшивку. Ревели и пилили на нас жуткие кровавые белки. В иллюминаторе глубоко мелькали нивы, текли дымы заводов, белели далекие города, а здесь, в небесах, шла коррида. Мы отбивались от быков, кидали им в глаза лежащую на полу солому, лупили по мордам какими-то прутьями. Они наступали, а мы, словно два тореадора, уклонялись от отточенных рогов. Казалось, еще немного — и обшивка самолета лопнет. Мы с быками вывалимся наружу, полетим к земле, продолжая сражаться, пока не шлепнемся на площадь какого-нибудь города. Это было страшно и восхитительно. Перед нами были крылатые мифические быки Вавилона. Красные рогатые звери, в груди у которых вращались

стальные пропеллеры. Синтез природы и техники, о котором мечтал Шмелев. Наконец мы не выдержали, стали истошно орать, бить кулаками в обшивку. Дверь в пилотскую кабину растворилась. Выглянул все тот же молоденький ироничный летчик. Понял, что происходит. Стал крутить какую-то ручку. Тросики под брюхом быков напряглись, попоны потянули вверх. Быки оторвались от пола и беспомощно повисли под потолком, шевеля ногами, мотая рогами, отекая слюной и пеной. Так мы летели, забившись в хвост самолета. Когда опустились на землю и пошли, шатаясь, восвояси, Шмелев сказал: «А все-таки мы получили драгоценный опыт. Вот так будут перевозить быков-производителей на Луну, чтобы улучшить поголовье лунного стада...»

Коробейников, волнуясь, завершил свой экспромт, видя, как восхитительно сверкают и хохочут глаза стройной женщины, меняя свой цвет от нежно-изумрудного до темно-голубого. И все, кто находился в гостиной, одобрительно усмехались, покачивали титулованными головами, и Ардатов несколько раз хлопнул своими породистыми, чисто вымытыми ладонями.

– Вы замечательный рассказчик! – с наивным восхищением произнес сосед Андрей. – Вижу, как живых! Эти алые быки с жужжащими солнечными пропеллерами!

Коробейников торжествовал. Незванный, случайный, он включился в загадочную игру, в таинственное состязание и не проиграл. Выдержал первое предложенное ему испытание. Угадал правила изощренной игры, прошел по узкому коридору вдоль каменных статуй, не задев и не опрокинув. Был принят в тесный круг избранных на самых начальных ролях, и это наполняло его торжеством. Вместе с ним торжествовала прекрасная стройная женщина, прижавшая свое нежное золотистое лицо к косяку дверей. А ее величественный седовласый муж не скрывал восхищения:

– Эту картину мог бы нарисовать великий Шагал. Крылатые алые быки и небесные голубые пастухи вращаются в невесомости.

В прихожей раздался звонок. Хозяин пошел открывать. Послышались голоса, смех, и в гостиную, к величайшему изумлению Коробейникова, вошел Стремжинский, его газетный начальник, которого привык видеть в рабочем кабинете, под зеленым электронным табло, совершающим священнодействие над свежим газетным оттиском. Сейчас Стремжинский был возбужден, быть может, пьян, в распахнутом пиджаке и съехавшем на сторону галстук. Его упрямые воловь глаза бурно вращались, радостно озирая гостиную. Чуть вывернутые губы продолжали хохотать, а тяжелая рука обнимала Марка Солима. Тот нес это бремя, посмеивался какой-то шутке, быть может, непристойной, которую отпустил в прихожей новоявленный гость.

– Поклон всему честному собранию!.. Леночка, примите еще одного своего поклонника, который мысленно осыпает вас с ног до головы цветами!.. Ба-ба-ба, кого я вижу! – Глаза Стремжинского с радостным изумлением остановились на Коробейникове. – Молодое дарование!.. Какая приятная встреча!.. Вы уже вернулись из Праги?

Стремжинский был в прекрасном настроении, шумно и развязно шутил. Был встречен дружелюбными улыбками, как встречают своих, извиняя им невольные бестактности. А Коробейников вдруг испытал смятение, ощущение неслучайных совпадений, которые, складываясь в цепочку встреч, странным образом привели его в этот респектабельный уютный дом. Каменные исполины Баамиана, на которых намекал Стремжинский и которым служили сидевшие в гостиной жрецы. Статья об архитекторе Шмелеве, которую хвалил Стремжинский и о которой только что шел разговор в гостиной. Саблин, легкомысленно и изящно передавший ему сестру, с которой они промчались по Москве в упоительном стоцветном вихре, и он, опьяненный, словно в наркотическом сне, поднимался с ней в тесном старинном лифте, видя близко от себя ее сияющие, дрожащие глаза. Все это казалось неслучайным,

было связано невидимой нитью. Но не было времени проследить цепочки событий и обнаружить в них глубинную, неслучайную связь.

– Вы уже завершили свое состязание в риторике? – Погружая одну стопу в пышную шкуру барана, а другую уставив в черно-красный персидский ковер, Стремжинский пил виски из толстого стакана. – Я не приготовил никакого особого блюда, ибо жизнь моя проходит в стенах кабинета среди бесконечной бессмыслицы. Только иногда «на мой закат печальный взглянет любовь с улыбкою прощальной». Да какой-нибудь острослов наградит смешным анекдотом. Кстати, вместо этюда по изящной словесности, послушайте анекдот. – Он радостно осмотрел собравшихся, наивно готовясь хохотать по поводу того, что еще только намеревался поведать. – Один западный немец побывал в СССР, возвращается в Германию и рассказывает: «Знаете, я хотел привезти вам какой-нибудь советский подарок, но там в магазинах такие большие очереди, что просто невозможно их выстоять. Но вот я узнал, что у них есть такой большой магазин, где продают игрушечных мышей, – “Маус”. Называется “Маусолеум”, на Красной площади. Прихожу, а там огромная очередь. Я встал и думаю, что привезу домой русскую игрушку – мышь. Простоял три часа, а когда подошла моя очередь и я вошел в магазин, выяснилось, что всех мышей уже продали, а сам продавец умер». – Стремжинский радостно захохотал, запивая анекдот виски, озирая друзей воловьими, выпуклыми глазами.

Одни кивали головой, другие тонко и печально улыбались, не то анекдоту, не то своему подгулявшему, переутомившемуся на работе товарищу.

Коробейникова покорила вольность политического анекдота, исходившая от того, кто в его глазах был ревнителем государственной идеологии, стоял на страже ритуальных святынь, одной из которых являлся стеклянный саркофаг, озаренный мертвенным амethystовым светом, где в лучах, с желтоватым стеариновым лбом, рыжеватой бородкой, с чуть заметной капелькой бальзама на веках, покоился Ленин.

– Но это не для вас, – обернулся к Коробейникову Стремжинский, дурашливо мотая пальцем, словно угадал его недоумение. – Помните, я вам говорил? Вступайте в партию, и вам откроются новые горизонты. Нам требуются новые кадры.

– Мы вас ждали, – с неудовольствием заметил Бобин, строго устремив на Стремжинского косматые, цвета солода усы, желая таким образом остановить вольнодумца. – Необходимо срочно организовать статью, которая бы нанесла удар одновременно по «славянофилам» и «западникам». Необходимо придавить оба враждующих фланга и отдать приоритет господствующей, марксистской идеологии, которая как-то померкла в последнее время, уступив место этим «потешным» сражениям. Мы развернем кампанию в прессе против явлений антиисторизма, ссылаясь на Пражскую весну как на пример пренебрежения основами марксистского мировоззрения.

– Я бы не стал делить поровну предполагаемый удар, – глубокомысленно заметил Марк Солим, – главное внимание следует обратить на усиление шовинистического, русского фактора, чреватого проявлениями антисемитизма и скрытой религиозной пропаганды. Систему можно реформировать либо в сторону прогресса и мировой цивилизации, на чем настаивают многие умеренные «западники», либо в сторону исторического регресса, «реванша кулаков и попов», о чем предупреждает нас классик.

– Это тонкий баланс, и его по миллиграммам следует выверять уже после написания статьи, – произнес Цукатов, зорко щуря свои поглубевшие глаза, становясь вдруг похожим на провизора, который на одну чашечку аптекарских весов кладет маленькие блестящие гирьки, а на другую костяным совочком сыплет целебный порошок. – Вопрос, кому заказать статью?

– Я думаю, тут незаменим Хромой Бес, – гулко продул в розоватый короткий хобот Приваков, – день назад в ЦК мы обсуждали с ним эту тему, и он правильно расставлял все акценты.

– Ему и закажем, и пусть он в ней поменьше «окает», а побольше «грассирует», – довольно засмеялся Ардатов, заколыхав своим упитанным породистым подбородком.

– И теперь, товарищи, вернемся к китайской теме, – не давая простор иронии, Цукатов остановил смеющегося Ардатова, – думаю, следует начать постепенное усиление антикитайской пропаганды, используя участвовавшие пограничные инциденты на Дальнем Востоке и в Казахстане. – Он обратился к Стремжинскому: – Я бы вообще открыл газетную рубрику под условным названием «На границе тучи ходят хмуро». Мы должны отвлечь внимание населения от западной границы, перенеся его на восточную.

– Тогда добейтесь на это согласия у недоумков в ЦК, у трусливых клерков в МИДе и у «серых полковников» в КГБ! – сердито воскликнул Стремжинский. – Я хожу по лезвию бритвы и не хочу быть козлом отпущения.

Все умолкли и посмотрели в сторону Коробейникова, который не понимал до конца логику политического разговора, чувствуя лишь, что оказался в центре сложного и, быть может, опасного заговора. Его присутствие нежелательно, мешает свободному высказыванию суждений. Пора было уходить, не злоупотребляя гостеприимством, что он и сделал, раскланиваясь:

– Прошу извинить, мне пора. – Коробейников отвесил общий поклон, лишь одному своему соседу Андрею пожимая на прощание легкую горячую руку.

Его провожали до дверей Елена и Марк Солимы.

– Приходите еще, – любезно говорил хозяин, обнимая талию жены, – мне бы хотелось прочитать вашу книгу.

– Я непременно передам ее с Рудольфом, – обещал Коробейников, не глядя на женское улыбающееся лицо, а лишь на серый подол платья, на стройную ногу в легкой домашней босоножке.

На улице было темно, ветрено. Дождь перестал. Все так же во дворе стояли черные лимузины, в которых дремали возницы, поджидая барственных пассажиров. Коробейников сел в свой «москвич», покатыл домой в Текстильщики, чувствуя утомление и непонимание. Москва больше не являла ему разноцветного волшебного чуда. Вечер, недавно казавшийся фантастическим, сулившим чудесные перемены в жизни, теперь сливался со множеством прожитых вечеров, был уже в прошлом, тонул. Над ним смыкались волны обыденности.

Пьянящий наркоз, что впрыснули в его разгоряченную кровь, выветривался. В машине не пахло женскими духами. Устало и печально он вел автомобиль по черному асфальту.

Глава 9

«Моя жизнь прожита. Я глубокий, забытый миром старик, завершающий последние истлевающие остатки бытия, чтобы исчезнуть, кануть навсегда, превратиться в ничто. Словно меня никогда не было и мое появление осталось незамеченным людьми, Богом, звездами, которые уже и теперь, покуда еще теплится моя жизнь, равнодушно от меня отвернулись. Без сил, с меркнувшей памятью, в сумеречной дремоте, лежу то ли на больничной койке с железной некрашеной спинкой, то ли на тюремных нарах, упираясь ногами в каменную холодную стену, то ли на утлом промятом ложе в дешевой гостинице на краю земли, завершая жизнь беглеца и изгнанника. Сквозь приоткрытые веки в сонных зрачках оставилась неясная искра света, – от зарешеченной лампы в бетонном потолке камеры, или синего ночника за перегородкой больничного бокса, или мертвенного фонаря в кроне дерева, что чахнет на окраине безымянного поселка, полужасыпанного песками пустыни.

Эта неясная искра скоро померкнет, и я исчезну. И, зная неизбежность моего превращения в ничто, я цепляюсь за эту последнюю тачку света, от которой в прошлое тянется мерцающая длинная линия. Можно переместиться по ней и попасть туда, где я, мальчик, наивно и восторженно верю в неповторимость моего существования, уповаю на чудо, оживающее меня за порогом милой тесной квартирке в Тихвинском переулке. Там я живу вместе с мамой и бабушкой среди предметов, составляющих убранство комнат.

Эти предметы моего детства я помню лучше, чем ландшафты азиатских гор и африканских лесов, отчетливей, чем бульвары Парижа и туманные кристаллы Манхэттена. Эта утварь сохранена памятью свежо и чудесно как изначальные, самые естественные очертания мира, где я оказался. Стал проступать из тумана, и в моем просыпающемся сознании начали возникать волшебные контуры столов, шкафов, окон, затейливые шкапулки, бронзовые подсвечники, фарфоровые вазы. Я их вижу теперь на огромном от них удалении, во всей их материальной достоверности. Лишь зыбко меняются расстояния между ними, смещается их положение в комнате, словно комната наполнена темноватой текущей водой. Или они находятся в невесомости, расплываются один от другого. Бронзовый подсвечник с медведем тихо плывет к потолку, медленно переворачивается, и я вижу зеленую патину на медвежьем ухе, которое я любил трогать моей детской рукой, и старую капельку воска, которую я потом отломил. Я ловлю эти парящие в космическом корабле предметы, возвращаю на место, но они снова плывут из-под рук. Затея, которой я занят в моей немоги и которая наполняет мои ночные часы узника или неизлечимо больного, сводится к тому, чтобы расставить по местам предметы. Если мне это удастся, то время соберет свои растроченные секунды, и хотя бы на миг воскреснет мое детство.

Мне кажется, если я поставлю хрустальный тяжелый куб чернильницы в свободный от пыли квадрат, то над столом из золотистой мглы возникнет новогодняя елка, в блестящих, в сверкающих нитях, в красных и голубых свечах, вокруг которых плавают жар, бежит капель, колышутся бумажные звезды, катаются хрупкие шары и фонарики, и мой сосед, такой же, как и я, мальчик, заморожено смотрит на высокую стеклянную пику с радужной сердцевинкой, держа в просвечивающих пальцах стеклянный серебряный дирижабль.

Если я установлю на вершине буфета высокую китайскую вазу, вокруг которой обвился фарфоровый дракон, и на стенках сосуда бьются саблями восточные воины, высятся крепостные стены и башни, то окно моей комнаты наполнится зимним янтарным солнцем, в синеве раскинет корявые ветви усыпанный снегом тополь, засверкает у водостока перламутровая волнистая сосулька, и я в форточку, охваченный студеной синью, потяну мою тонкую руку, стараясь достать заостренную книзу, пленительную ледяную отливку.

Если выдвинуть на середину комнаты гнутую, обитую стертой кожей каталку, в которую можно забраться с ногами и, слыша усталый хруст деревянных завитков и вавилонов, раскрыть на коленях старинную мамину книжку, французские сказки с дивными гравюрами, с золотым тиснением обложки, то можно уловить негромкий звяк тарелок за дверью, невнятные разговоры мамы и бабушки, которые говорят обо мне, и так покойно и радостно среди этих неразличимых слов, негромких родных голосов, тихого скрипа каталки.

Если встать на резную табуреточку с мавританским узором, потянуться к деревянным кольцам, на которых висит тяжелая занавеска, сдвинуть их по темной полированной палке, то откроется утреннее, сумрачно-синее окно в переулок, желтые, еще непогашенные зимние фонари, туманные оранжевые окна в доме напротив, и в одном из них, лунно белея сквозь наледь, теплая после сна обнаженная женщина поворачивается пред невидимым зеркалом, медленно надевает лиф на свои полные груди, и от этого ежеутреннего, головокружительно зрелища нельзя оторваться.

Моя память – удивительное, загадочное место Вселенной, где нарушаются неукоснительные законы мироздания, связанные с пространством и временем. Одно переходит в другое. Время изменяет направление и возвращается к истокам. Предметы перевоплощаются друг в друга, меняются местами, восхитительно и странно парят в незримых потоках. Моя память – поразительный инструмент, сконструированный природой, где она изменяет себе самой. Свидетельствует об иной закономерности мира, о волшебстве творения и, возможно, о преодолении смерти. Как невесомые лучи солнца по воле Творца превращаются в сочное яблоко, так память моя превращает смугло-алый текинский ковер на стене в хохочущее лицо белокурой девочки, которая подарила мне первую ошеломляющую влюбленность. А полосатая мутака на кушетке оборачивается дедом, который явился с мороза, раздраженно кашляет в передней, пока бабушка помогает ему стягивать тяжелую старую шубу. Зажженный под потолком светильник в свинцовой оплетке, состоящий из множества стеклянных осколков, из которых, если неотрывно смотреть, возникают забавные изображения птиц, зверей, человеческих лиц, – этот светильник плавно перетекает в ангину, наполняющую меня страданием и жаром, и бабушка, трепеща от волнения, несет мне пиалу с вкусным куриным бульоном.

Эти предметы и фетиши, окружающие меня таинственными хранящими силами, защитными оболочками, олицетворяющие целостность и гармонию маленькой дивной планеты, на которой протекает мое детство, на самом деле являются остатками взорванного светила, откуда долетели до меня лишь разрозненные обломки. Усилиями мамы и бабушки они выхвачены из черного дыма, спасены от истребления. Являются свидетельствами цветущего уклада, где огромная дружная семья в прекрасном солнечном доме под южными небесами, как и множество других, теперь несуществующих семей, была частью благословенного, навеки уничтоженного прошлого. Сквозь эту семью, колыхая итыками, прошли революционные полки. Проплыли тяжелые легальные пароходы, увозя за море остатки разгромленных армий. Пролегли тюремные этапы и пересылки. Прокатились военные эшелоны. Пролетели бесчисленные похоронки, прощальные письма, постановления трибуналов и “троек”.

Фарфоровая китайская ваза с драконом, упирающаяся в потолок нашей низенькой комнаты, когда-то стояла в просторной гостиной с выходом в благоухающий сад. Мой прадед, в домашнем сюртуке, с серебряной бородой, обойдя с садовыми ножницами кусты роз, ставил в вазу роскошный пышный букет, ожидая, когда в гостиную высыплет шумная ватага детей, среди которых прелестная, с волнистыми русыми волосами, Настенька, моя будущая бабушка. Светильник в свинцовой оплетке, собранный из разноцветных стекол, горел высоко над роялем, где собрались три сестры – очаровательные девочки, полные

девичьих мечтаний, с альбомами, томиками сентиментальных стихов, сокровенными тайнами. Одна из них, Таня, моя будущая мама, потеряв на фронте мужа, сохранила меня среди пожаров, голодного мора, эвакуаций и воздушных тревог. Другая, Вера, пережила в Ленинграде блокаду, арест, лагеря, уральскую длинную ссылку. Третья, Тася, самая миловидная и мечтательная, пропала за границей, унесенная огромным сквозняком, дующим в черный пролом русской истории, как крохотная пушинка, затерявшись среди других континентов. Светильник, переливаясь золотистым и алым, помнит девичьи локоны, кружевные легкие платья, худые обнаженные руки, розовые пальчики Таси, бегающие по клавишам рояля.

Но и милая планета моего детства с ландшафтом комодов, буфетов и тумбочек, с рукодельными коврами, цветными подушками и мягкими покрывалами, с восхитительными предметами, расставленными на столе, на полочках, за стеклами старинного, из красного дерева, буфета, – эта маленькая гармоничная планета тоже погибла от прямого попадания метеорита, разметавшего хрупкий, сберегаемый мир. Множество его осколков бесследно пропало, было раздарено, украдено, снесено в антикварные лавки, погибло в грудах хлама и мусора. Малая часть перешла во владение к моим детям, потерялась среди изделий другого времени, утонула в новом укладе, странно и нелепо присутствуя среди электронного дизайна квартир, яркой пластиковой красоты интерьеров, безделушек и фетишей иной, синтетической природы. Мои дети от меня отреклись, забыли о моем существовании. Не ведают, жив я или умер. Не знают, на каком языке сделана надпись на воротах больницы, где я доживаю последние дни. В какой континент будет зарыт мой бездомный прах. За какие преступления я заточен в тюремную камеру. Но вдруг сын Василий, погрузившийся, потемневший с годами под бременем житейских невзгод, внезапно наткнется на серебряную тайную ложечку с вензелем, и в его печальном сознании вдруг вспыхнет чудесный день. Мы вышли из избы и спускаемся к озеру. Он перебирает своими упругими стройными ножками в цветущей колее, путается в розовых липких «богатырских цветах». Я подхватываю его на плечи. И оттуда ликующим взором он охватывает перламутровые дали, голубое озеро, темную на стекленеющей воде лодку, где мать и сестра счастливо машут, зовут. И все мы, любящие и счастливые, окружены Божественной сияющей сферой.

В моей немощи, когда обессиленное тело не способно двигаться и любое шевеление вызывает страдание и боль, только одно сознание сохранило способность движения. Содержит в себе остатки того, что когда-то составляло личность, для которой естественным было ежеминутное творчество. Вот и теперь мой разум занят странной забавой, вовлечен в увлекательное предсмертное творчество, которое заменяет мне мудствования, глубокомысленные размышления о смысле жизни, о тщете бытия.

Я вижу наш старинный, стройный буфет из орехового дерева, с резным навершием, похожим на затейливую женскую прическу, с прозрачной легкостью створок, сквозь которые просвечивают драгоценные изделия из серебра, фарфор старинных сервизов. Этот бабушкин буфет напоминает прелестную даму. В нем столько женственности, прелести, хрупкого изящества, что хочется подойти и с поклоном поцеловать протянутую теплую руку, где на запястье тикают крохотные золотые часики, а длинные пальцы стиснуты золотым, с дедовским бриллиантом кольцом. Дверца в буфет приоткрыта. Сквозь волнистое старинной работы стекло просвечивают голубые чашки, плетеная корзинка со столовым серебром, блюдо с орхидеями, ваза на толстой стеклянной ноге. Все это видят мои стариковские слипшиеся глаза, которые жадно в своей слепоте взирают на прозрачную дверцу. Вызванное этим пристальным ожиданием, неисчезнувшим во мне колдовством, совершается чудо. С легким звоном, сыпая с плеч стеклянный блеск, сквозь дверцу проходят люди: мои прадеды, бабки, прабабки, мои деды и дядя, многочисленная родня в старомодных камзолах, сюртуках и мундирах, в кринолинах, сарафанах, в бальных со шлейфами платьях. Проникают по одному сквозь стекло, стройные, с прямыми спинами, просвет-

ленными строгими лицами, с какими выступают на подиуме и шествуют, демонстрируя стать, изящество походки, благородство туалетов и поз. Я смотрю без устали на их бесконечную вереницу. Некоторых узнаю, вспоминая старинный семейный альбом. Других воспринимаю на веру, угадывая по сходству фамильных черт. Они движутся сквозь дверцу буфета, достигают моих глаз, становятся прозрачно-пустыми, невесомо проходят сквозь меня, исчезают. Среди них в стеклянной дверце появляется мой отец, молодой, в красно-армейской шинели, в обмотках, в тяжелых солдатских ботинках. Шагнув сквозь дверцу буфета, он выходит в бескрайнюю снежную степь, где летают солнечные ледяные поземки, и падает в ослепительный снег с красным рубцом во лбу.

Мне кажется, если пойти навстречу отцу, проникнуть сквозь хрупкую створку, не задеть сервизы, стеклянные блюда и вазы, то по другую сторону буфета можно выйти в рай, где встретит меня многочисленная, ушедшая из жизни родня, возьмет меня под руки, примет в свое многолюдье».

Глава 10

День прошел в раздумьях над новой книгой, в составлении плана, в перебирании черновиков и набросков, в которых, словно в ворохе палой листвы, шелестело, шевелилось, дышало невидимое существо романа. К вечеру Коробейников отправился в Тихвинский переулок, в дом, где прошло его детство и где оставались жить мама и бабушка. Была суббота, когда совершалось ритуальное купание бабушки, и мать половину дня посвящала приготовлениям: мыла ванную, расставляла нагреватели, стелила чистое постельное белье, готовила заварку, мыла цветастый чайник, встряхивала над ним пышную лоскутную бабу. Но уже неделю, как маме нездоровилось, омовение откладывалось, бабушка нервничала и страдала. Наконец мать жалобно и застенчиво, голосом, похожим на мольбу, попросила Коробейникова приехать и искупать бабушку.

Утомленно в домашнем халате мать хлопотала на кухне. Слабо кивнула бледным, увядшим лицом вошедшему Коробейникову. Из прихожей в полуоткрытую дверь он видел, как бабушка дремлет в маленьком белом креслице, укутанная в шерстяную кофту, выставив ноги в домашних шлепанцах, склонив маленькую серебряную голову. Она была похожа на легкое белесое облачко, что залетело в дом, опустилось ненадолго в креслице, до первого дуновения ветра, который подхватит его и унесет. И от этого – такая любовь, такое слезное к ней влечение, желание подойти и обнять, заслонить собой от холодного дуновения, продлить ее тихую дремоту с едва заметным колыханием старой кофты.

Он тихо вошел, но бабушка не слухом, а чутким, постоянно направленным на него ожиданием, уловила его появление. На коричневом, морщинистом лице, в складках и углублениях, похожих на русло сухого ручья, по которому когда-то пронесся бурный поток, открылись глаза. И в этих маленьких милых глазах вдруг вспыхнул такой живой изумительный свет, такое умиление и обожание, что вся она ожила, похорошела, словно внутри лица загорелась теплая чудная лампа.

– Мишенька, ты пришел!.. Мой милый, мой милый мальчик!..

Он опустился перед ней на колени, взял в свои большие нагретые ладони ее холодные костлявые руки с коричневыми венами, видя, как ее темные негнущиеся пальцы скрываются в его белой, живой, сильной плоти.

– Ба, ты все время дремлешь. Что-нибудь снится? О чем-нибудь думаешь?

– Все думаю, думаю... Вспоминаю наш дом в Тифлисе, папу... Как утром в своих мягких сапожках выходил в сад и возвращался с букетом роз, чтобы мы, дочери, проснулись и увидели цветы. Вбегаем в гостиную – китайская ваза, букет целомудренных белых роз, папа со своей седой бородой...

– Разве можно часами вспоминать?

– Не только вспоминаю, но и обдумываю свою жизнь, свои поступки. Очень много было грехов, много людей, которым делала больно. Прошу у них прощения и каюсь...

Лицо ее сделалось серьезным, истовым, словно ее привели на суд, где ее окружает множество строгих, находящихся в глубоком раздумье людей, недоступных Коробейникову, но ясно и живо созерцаемых бабушкой. Все они умерли, соединились с несчетными, отошедшими в прошлое толпами. И оттуда, куда отошли, взирают на бабушку. Молча ее поджидают, затягивают в свое многолюдье, похожее на церковную фреску, где мужские и женские головы, волна за волной, удаляются в неразличимую мглу. Бабушка все ближе к ним, все смиренней. Вот-вот коснется этой толпы, которая распадется, откроет ей узкий ход в свою глубину, и она шагнет и скроется в непроглядной мгле. Не желая ее отпускать, отвлекая, нарочито бодрым, легкомысленным голосом он произнес:

– Знаешь, ба, у меня поездка была замечательная. Сибирь, столько встреч интересных. Везде хорошо принимали...

Его хитрость удалась. Она вся осветилась. Руки ее потеплели и радостно дрогнули. В глазах появилось лучистое, обращенное на него свечение, которое он помнил с младенчества, стараясь оказаться в этих любящих лучах, переливаясь в них.

– Я горжусь тобой. Всегда в тебя верила. Всем говорила, что ты прав, выбрал свой путь и добьешься на нем своих целей. Кто может мне теперь возразить? Кто вправе осудить моего мальчика? У тебя чудесная добрая жена, милые красивые дети. Ты стал писателем, как хотел, выпустил первую книгу. У тебя автомобиль, дом, деревенская дача. Я горжусь и верю в тебя!..

Она исполнилась удовлетворения, ибо сбылись ее долгие ожидания, терпеливые верования, и она вознаграждена успехом внука, в котором не сомневалась. Отстаивала и защищала от нападок родни, не понимавшей, как мог он, баловень и молодой сумасброд, бросить профессию инженера, покинуть Москву, пуститься в неверные странствия по деревням и лесам ради прихоти и каприза, которые обрекали его на долю бродяги и неудачника. Его благополучие было ей наградой за непрерывные лишения и траты, в которых неуклонно убывал и таял их род. Его успех вселял ей надежду, что кончились злключения и началось наконец возрождение. Самая старшая в роде, прародительница, она сберегла священный огонь и может теперь спокойно уйти, оставив после себя продолжение. Коробейникову чудилось в этом нечто первобытное, библейское. Или еще более древнее, от матриархата, когда длинноволосая женщина с изможденным телом, хранительница очага, своей любовью и жертвенностью умягчала сердца мужчин, останавливала боины, стук палиц, удары копья о кость. Собирала в пещеру к костру осиротевших детей, кормила от своих сосцов, согревая у своего живота, занавешивала от врагов пеленой своих нечесаных седых волос.

– Вот сейчас освобожусь от неотложных дел, напишу материал в газету и хочу перечитать некоторые книги Библии... Иов, Притчи Соломона, Экклезиаст...

Ее лицо вновь озарилось, но уже восторженным, самозабвенным светом, словно фонарь, который в ней горел, каждый раз поворачивался новой светящейся гранью.

– Это такая тайна, такая непостижимая глубина... Я вчера читала Откровение Иоанна Богослова... Это умом не понять... Нужна глубокая сердечная вера...

Ее вера была женской, внецерковной, молакано-баптистской. Присутствовала в их доме, сопровождала его взросление, составляла теплоту и сердечность ее отношений с соседями, продавщицами, трамвайными кондукторшами, случайными встречаемыми. Когда бабушка мыла посуду, или вышивала, или вела его по морозной улице в школу, сжимая сквозь пеструю варежку его хрупкие пальцы, она негромко, с душевным чувством, напевала какой-нибудь псалом: «Великий Бог, ты сотворил весь мир!» или «Открой, о Боже, чертог своей любви!». И при этом бойко семенила, зорко смотрела вдаль, похожая на богомолку, паломницу.

– Не знаю, верую я или нет. Иногда чувствую, что сотворен, что нахожусь в чьей-то благой и могущественной воле, и от этого так чудесно. Но иногда в душе пустота, и только суетный ум в постоянных комбинациях, изобретениях, замыслах...

– Папа был верующий. Однажды он дал своему другу в долг все свои сбережения, очень большие деньги. А друг его обанкротился. Нам грозила бедность, нищета. Папа страшно переживал один в своем кабинете. А потом среди ночи пошел к маме: «Ну, Груня, буди детей, зови в гостиную!» Нас, сонных, подняли, одели, повели к папе. Он всех обнял, усадил вокруг. «Может быть, мы с вами уже нищие. Придется продать дом с молотка. Я не уберег вас, пустил по миру. Давайте все вместе тихо помолимся». Мы сидели полночи при лампах всей большой, дружной семьей, все мои братья и сестры, и просили у Бога помощи.

Наутро выяснилось, что папин друг преодолел затруднения и вернул долг. Папа был очень, очень религиозен...

Она затихла, словно благоговела перед непостижимой Премудростью, что распростерла над всеми свой незримый покров, посылая людям великие испытания и великие вознаграждения. Запечатленная в Евангелие, в маленьком томике с золотым обрезом и медным замочком на кожаном переплете, эта Премудрость придавала смысл всей ее долгой, исполненной любви и страданий жизни и теперь сопутствовала в дни последней старости, делая эту старость величественной и просветленной.

– Мне очень жаль Татьяну, – сказала бабушка шепотом, прислушиваясь, не идет ли из кухни дочь. – Конечно, я знаю, она со мной мучается, тратит на меня все свои силы. Я ее связываю. Но когда меня не станет, она будет очень одинока. Ты, Мишенька, будь всегда рядом с ней. Она тебя очень и очень любит...

Ему стало невыносимо больно. Глаза горячо увлажнились. В них расплылось вечернее, со старым тополем, окно, хрупкий стеклянный буфет с китайской вазой и фарфоровым красноголовым драконом, ковер на стене с рукодельными бабушкиными маками. Все бабушкины помышления, воспоминания, дремотные мысли были связаны с близким уходом. И ему, молодому и сильному, исполненному энергичных и страстных замыслов, не было места в этом таинственном убывании.

– Будешь, будешь вспоминать свою бабушку-забавушку, – тихо прошептала она, освобождая из его ладоней свою остывающую слабую руку.

Вновь погрузилась в сонное беспамятство, маленькая, белоголовая, похожая на легкое серебряное облачко, опустившееся в белое креслице, какой и станет ему являться по прошествии долгих лет.

Из кухни явилась мать, кутаясь в шаль, опасаясь малейших, гуляющих по квартире сквозняков, перепадов температуры, от горячей плиты до прохладных комнат, где в единый миг могла ее настигнуть простуда, свалить в постель. И тогда, сбивая жар, глотая бесчисленные лекарства, борясь с недугом, она продолжала ухаживать за бабушкой, стряпала, убирала, вызывая у той бессильные слезы и сострадание. Истово и упорно, как и всю свою жизнь, боролась за существование, свое и близких людей. Коробейников слышал в коридоре ее шаги, ожидал увидеть ее болезненное, прекрасное в увядании лицо, в котором навсегда в горько поджатых губах, настороженных серых глазах отпечатался страх перед жизнью, где она, вдова и кормилица, сражалась с бесчисленными бедами, переноса из огня в огонь свое единственное чадо.

Но когда мать появилась в комнате, лицо ее было одушевлено, глаза сияли, на бледных щеках дышал чуть заметный румянец, какой случался, когда она любовалась каким-нибудь восхитительным подмосковным пейзажем, или на выставке останавливалась перед холстом Коровина, или наивно и трогательно, словно восторженная гимназистка, читала стих Огневцева о своем любимом городе: «Скажите мне, что может быть прекрасней дамы петербургской?»

– Ты знаешь, какая удивительная новость? Тася прислала Верочке из Австралии письмо! Не просто откликнулась на ее послание, но после долгого молчания вдруг разразилась таким нежным, пылким письмом на десяти страницах, где вспоминает нашу молодость, наших любимых стариков, друзей и знакомых. Вся горит желанием приехать и повидаться. Не просто желанием, а пишет, что уже получает визу и хочет заказывать билет на самолет!

– Неужели? – восхитился Коробейников, вслед за матерью изумленный этим неправдоподобным известием. – Значит, она нарушила обет молчания?

– Могу себе представить, как не верила поначалу, когда к ней явился этот советский посланец, которому Верочка дала ее приблизительный адрес в Сиднее. Думала, что это агент КГБ, что ее отыскиали и теперь вылавливают. Получала от Верочки письма и не верила в их

подлинность. Откладывала прочь, перечитывала, пока вдруг не убедилась, что это мы, ее сестры. Живы, помним о ней, желаем ее обнять. И тогда лед в ее душе растаял и хлынула эта слезная, радостная нежность, любовь!

Мать улыбалась, ликовала, торжествовала. Среди бессчетных огорчений, страхов, утрат, среди ожиданий невзгод и опасностей случилась несомненная радость. Произошло непредсказуемое чудо, когда вместо потерь явилось дивное приобретение, вместо непрестанных разрушений – радостное восстановление. Род, постоянно убывавший и таявший, вдруг неожиданно получал прибавление, возвращал себе давно утраченного члена семьи, казалось, сгинувшего навсегда в ином, запретном, несуществующем мире.

– Она пишет, что колебалась, была полна подозрений. Но когда в очередном письме прочитала описание того, как мы втроем собирались в гостиной у рояля, и на клавиши вместо отлетевших, желтых, старых пластин были приклеены новые, белые, и в нашем разноцветном светильнике, среди стекол в свинцовой оплетке, мы отыскивали изображения арлекинов, усатых гусаров и египетских фараонов, и Верочка утверждала, что это наши будущие женихи, – после этого все сомнения отпали. Она поверила, что мы существуем, и все свои сбережения потратит теперь на поездку в Москву...

Коробейникову казалось: событие, готовое наступить и уже наступившее, окрасившее материнские щеки трогательным нежным румянцем, а вечно тревожные, с близкими слезами глаза осветившее счастливым воодушевлением, – это событие имело не только фамильное, но и космическое значение. Было событием, случившимся в космосе. Их род был подобен планете, пережившей катастрофу. Одна ее цветущая часть была вырвана и унесена во Вселенную, погибла там среди жестоких столкновений, ядовитых и злых излучений. Другая, изуродованная, в рытвинах, в дымящихся кратерах, медленно излечивала рубцы, лечила страшные раны, храня большую память об исчезнувшей, унесенной взрывом половине. И вот теперь, спустя много лет, пролетев по неведомым орбитам, как крохотный метеорит, на землю возвращается уцелевший обломок. Стремится обратно, шлет издалека свою весть. Обмелевший, обезлюдевший род жадно и радостно ловит чудесное послание, ждет возвращения, отыскивает среди проломов и рытвин место, откуда когда-то улетел их тел осколок, чтобы принять его обратно, бережно поместить на ожидавшее его прежнее место.

– Я все думаю, как произойдет эта встреча. У нас общее и драгоценное прошлое, но такое различное настоящее. Мы прожили совершенно разные жизни. Будет очень непросто найти общий язык. Столько всего неизвестного о тех, кто тогда уехал. Что случилось с дядей Васей? Что с Шурочкой? Что с Мазаевыми? Что с Салтыковыми? Ничего мы о них не знаем. Как и она о нас. Не знает о моем замужестве, о моем вдовстве. Не знает, как умирала ее мать. Как ушли наши любимые старики...

Эти слова мать произнесла с проникновением и болью, от которой задрожал ее голос и в глазах выступили прозрачные беззащитные слезы. Их вида с самого детства боялся Коробейников. Они были мучительны для него. Появлялись каждый раз, когда мать вспоминала о погибшем отце. Эти воспоминания были для нее столь свежи, что ее небольшие глаза переполнялись слезами, в которых, казалось Коробейникову, переливается образ молодого отца, лейтенанта с щегольскими усиками. Он старался ее обмануть, заговорить, увести прочь от воспоминаний, а когда не удавалось, роптал на нее за причиненное страдание.

– Тася была красавица, любимица своей матери. Ей отдавалось предпочтение, дарились самые красивые платья, приглашались учителя музыки, английского и французского. Ей в глаза говорили, что она одаренная, избранная. А Верочка считалась дурнушкой. Мать была к ней строга, постоянно ставила в пример Тасю, и это не могло не сказаться на их отношениях.

Теперь мать предавалась воспоминаниям, страстно и радостно погружаясь в те из них, где когда-то было ей чудесно, где о ней заботились сильные добрые люди и было еще далеко

до страшных бед, когда всех этих людей постигло несчастье, они исчезли, а она осталась одна среди враждебных и черствых чужаков.

– Тася всегда была окружена кавалерами. Какой-то курсант был так в нее влюблен, что грозил застрелиться. Ей посвящались стихи и романсы. Она и уехала за границу, в Англию, поддавшись какому-то ветреному увлечению. Тогда, в двадцатых годах, с трудом, но еще можно было выезжать за границу...

Коробейников с самого детства был наслышан этих материнских воспоминаний, по два, а то и по три раза. Все они обрывались у какой-то черты, на которую упал непроглядный занавес, скрывая ту часть семьи, что, увлекаемая бегством, страхами, наущениями, исчезла в эмиграции. Неясные и неверные слухи окольными путями доносились время от времени об исчезнувшей родне, никогда не подтверждаясь. Теперь же, когда чудом уцелевшая родственница возвращалась домой, ей надлежало поведать повесть об остальной половине рода. И повесть эта обещала быть грустной. Ему, Коробейникову, предстояло раскрасить бесцветную, контурную карту в цвета ее повествований, нанести названия городов и стран, где покоились дорогие могилы. Так черепок от разбитой вазы точно и бережно прикладывают к обломку сосуда, чтобы кромки совпали. Однако за долгие годы кромки стесались, хрупкие зазубрины изнашивались, и их соединение сулило разочарования. Так реставратор в разрушенной церкви поднимает с земли расколотую, затоптанную фреску. Вставляет в картину малый золотистый осколок, ломтик крыла или нимба.

– Надо уже готовиться к приезду Таси. Где ей жить: у нас или у Верочки? Что показать: Москву, Ленинград, быть может, поехать в Тифлис?.. Непременно к тебе в деревню, чтобы она полюбовалась настоящей русской природой... Будет ли ей, как иностранке, это позволено? Мы рассчитываем на твою машину...

Она со свойственной ей педантичностью, привыкшая все отмерять и экономить по крохам, уже составляла план пребывания сестры. И его подключала к этому плану. Он хлопотал, рассчитывал вместе с ней. Готовился к встрече. Эта встреча среди громадных и грозных событий мира была незаметна для остальных. Но для них являлась радостным праздником. Мир не видел, не замечал их радости, но они в своем маленьком мирке ликовали.

Настала пора купать бабушку. Ванная размещалась на кухне. Коробейников включил газовые конфорки плиты, прогревая воздух, покуда ни воцарился душный, почти обжигающий жар. Запалил полыхнувшую колонку. Пустил в ванную воду, подставляя руку под падающую из крана струю, глядя, как разбивается об эмаль блестящая, лучистая брошка. Принес из комнаты стул. Повесил на него мохнатое полотенце и теплый халат, в который после омоения облачится бабушка. Мать вместе с последними наставлениями передала ему чистую ночную рубашку и неновые, латанные чулки. Все это он отнес на кухню и повесил на спинку стула. Придвинул табуреточку, на которую, как на ступеньку, шагнет бабушка, преодолевая высокий край ванной.

– Ба, ванная готова, пойдем, – пригласил он ее, поднимая из креслица, чувствуя, как панически хватают его локоть испуганные цепкие пальцы.

– О господи!.. – охнула она, готовясь к желанному действию, страшась его, сконфуженная тем, что вынуждена верить себя внуку.

Он провел ее по коридору, слыша шарканье шлепанцев. Отворил кухонную дверь, откуда пахнуло влажным тропическим жаром, булькающим звоном. Они оказались под яркой лампой, среди водяного блеска. Газовые конфорки были похожи на синие георгины.

– Готовься к купели, – полушутливо, сам смущаясь, сказал Коробейников, усаживая бабушку на стул, начиная расстегивать на ней костяные пуговицы по всей длине платья.

– О господи, – повторила она, покорно уступая ему, позволяя себя раздевать.

По мере того как он совлекал с нее ветхие несвежие ткани, обнажая дряблую, иссохшую плоть, состоящую из усталых волокон, обвислых оболочек, костяных выступов, в нем

тонко и неуклонно увеличивалась боль, сострадание к ней, некогда деятельной, неутомимой, чья неиссякаемая бодрость была направлена на защиту и вскармливание его, любимого внука. Теперь же беспомощно, жалобно, стыдясь не наготы, а своей немощи, она вручала себя внуку и о чем-то беззвучно умоляла.

– Теперь давай, аккуратненько, – говорил он ей, как говорят с нездоровыми любимыми детьми, слегка подсмеиваясь над ними, обманывая их страхи, подчиняя своей благой и бесстрашной воле, – на табуреточку и через край, водичку попробуем.

Он поддерживал ее шаткое тело, состоящее из пустых костей, кривых ключиц, шелушащихся складок, помогая перешагнуть край ванной. В ней было что-то птичье. Что-то от большого, лишенного перьев птенца, не умеющего летать, боящегося высоты. Блеск воды, мокрая эмаль ванной, яркий слепящий свет лампы создавали ощущение операционной, куда он привел бабушку и где уготованы ей страдания.

– Ну что, ничего водичка? Не слишком горячая?

– Ничего... Спасибо тебе. – Она успокаивалась, помещая себя в ванную, хватая ее края тощими руками, просвечивая сквозь воду скрюченными пальцами ног, костлявым худым крестцом, к которому вдоль сутулой спины спускалась редкая седая косица.

Он старался не смотреть на ее наготу, на длинные, как пустые чулки, груди, на складчатый вислый живот, похожий на старый кожаный саквояж, на проступавший сквозь кожу анатомически-наглядный скелет. В созерцании ее наготы было нечто запретное, библейски-грешное, первобытно-табуированное. Находясь с ней рядом, он подсматривал какую-то грозную тайну, которая должна быть защищена и укрыта, в которой содержится идущая от поколения к поколению заповедь, связанная с первородным грехом, продолжением рода, брэнной смертью, исходом души из тела. Пугаясь, совершая святотатство, он смотрел на бабушку.

– Сперва мне спину потри... – попросила она, шевеля худыми лопатками.

Он окунул в воду мочалку, жестко-волокнистую, купленную на рынке люфу, которая отяжелела, пропитанная горячей влагой. Розовым мылом старательно натер пористую поверхность, покрывая ее ровной пеной и лопающимися перламутровыми пузырями. Из ковшика окатил бабушкину спину, которая чутко вздрогнула костлявыми лопатками, выгнула фиолетовый неровный скелет. Стал тереть мочалкой рубчатые, резко выступающие позвонки, страшаясь их ломкости, боясь неосторожным нажатием причинить бабушке боль. Но она наслаждалась этими скользящими прикосновениями. На ее изъеденной зудом, утлой спине всплывала бело-розовая, с голубыми переливами пена. Быть может, та самая, мелькнуло в голове Коробейникова, из которой на утренней заре, стоя в жемчужной раковине, возникла божественная Афродита.

– Сильнее, сильнее! – требовательно и даже капризно приказала бабушка, поводя в наслаждении лопатками.

Он с усердием тер, думая в странном изумлении, что из этого чахлого, немощного тела возник он сам. Ее клетки входят в состав его сильного крепкого тела. Ее кровяные тельца блуждают в его горячих молодых кровотоках. Они же как неистребимый фермент, впрыснутые природой в упрямое движение рода, просачиваясь сквозь избиения, казни, безвременные кончины, живут теперь в нежной материи, из которой состоят его дети. Пристально, зачарованно он рассматривал ее худую костистую шею, где потемнела от воды слипшаяся косица. Розовеющий в залысинах череп, куда ненароком из ковшика попала вода. Иссушенное плечо, похожее на пропитанное смолой плечо мумии.

Со страхом и недоумением думал, что она и есть тот стебель, почти лишенный соков, скрученный, как ботва, которым он, Коробейников, связан с исчезнувшим родом. Со всеми великолепными, в силе и красоте, дедами и прадедами, которые сочетаются с ним через это отсыхающее корневище. Когда оно отомрет и отсохнет, то бабушка сразу помолодеет,

превратится в нежную, с точеным лицом красавицу, присоединится к сонму родни, и роль корневища станет играть мама, превратившись в вянувший хрупкий побег.

– Уши мне не залей, – строго, с неожиданной властью, приказала бабушка, и он сдвинул блестящую струйку ковша с ее шеи на сутулую спину, посмотрев на ее уши и с изумлением впервые в жизни увидев, что уши у бабушки большие, кожаные, несоразмерные с ее маленькой головой.

Необъяснимость и загадочность происходящего оставались, порождая нежность, печаль, ощущение невыразимого таинства, соединяющего между собой людей, не дающего им пропасть среди жестокого бесчеловечного бытия. Когда-то бабушка держала его маленькое голое тело над жестяным корытом, а он, страшась колыхания темной горячей воды, поджимал ноги, истошно кричал, а она гладила, успокаивала, заговаривала, нежно ополаскивала, бережно опускала его в продолговатую жестяную посудину, где он успокаивался, чувствуя, как плещет тепло в его голую грудь. Начинал шлепать по воде розовыми блестящими ладонями, хватал целлулоидного раскрашенного попугая, который не хотел тонуть, выталкивался на поверхность, звеня в своем полом птичьем теле сухими горошинами. За черным окном натопленной кухни стояла лютая зима, где-то рядом шла война, взрывались города и горели танки, и отец бежал по степи навстречу красным секущим вспышкам. Теперь же они с бабушкой поменялись местами. Он воздает ей по неписанным заповедям. Не успеет до конца заплатить свой долг. Станет расплачиваться, когда ее не станет, возвращая своих детей, которые когда-нибудь с нежностью и печалью станут поливать из ковша его сутулую костистую спину.

– Ба, ты мне руки подставляй, чтоб было удобнее, а то только мешаешь, – с мнимой строгостью произнес он, заставляя ее приподнять тощую руку, на которой отвисла дряблая, потерявшая наполнение кожа и обозначились, как в анатомическом театре, сухожилия и костные сочленения.

И вид этой немощной, утратившей былую силу и проворность руки вызвал в нем благоговение, трогательное и слезное умиление, как если бы он совершал целомудренное и святое действие, омовение в купели, когда на плещущую воду, на погруженное в нее тело в тихом сиянии нисходит благодатный дух. Почувствовал лицом, как слабо налетела в накаленном воздухе тихая прохлада, качнулись синие лепестки в газовых горелках, и бабушка облегченно вздохнула.

– Да не бойся ты, сильней три... – понукала его бабушка с неожиданной бодростью, чувствуя облегчение. В ее порозовевшей коже, по которой прошла мочалка, раскрылись и задышали поры. – Шею и грудь потри...

Он осторожно поводил намыленной люфой по ее шее с синева-черными венами, среди которых пульсировал больной, досаждавший ей зуб. И ошеломляющая, головокружительная мысль: «Неужели это пожелтелое пергаментное тело, изуродованное старостью и болезнями, было когда-то ослепительным, свежим, окружено божественным сиянием, и его, теряя голову, с безумным и восхищенным шепотом, обнимал обожающий муж, покрывая поцелуями царственную белую шею, душистый затылок с копной пепельно-светлых волос? Неужели этот складчатый, вислый, как изношенная котомка, живот наливался круто и мощно, тая в себе жаркий созревающий плод, и эти вислые, сморщенные груди были полны млечной благоухающей силой, от которой бутонами набухали темно-розовые соски?»

Это старушечье тело, задержавшись на земле, странным образом удерживало в себе исчезнувшее огромное время, не позволяя ему окончательно кануть в прошлое. Это немощное хрупкое тело, откуда почти излетел дух, неинтересное и ненужное кипевшей вокруг жизни, было свидетелем громадных событий, крушения империй, вселенских катастроф и свершений. И пока оно слабо дышало, вместе с ним дышало царствование Александра Третьего, которого она видела девушкой в Петербурге, среди медных кирас и плюмажей, на

огромном тяжелом жеребце. Оставался неубитым последний император, чей изящный экипаж пролетел мимо нее по улицам старого Тифлиса, рассыпая звонкое эхо стальных ободов и конских подков. Жил Ленин, пославший на Кавказ отряды красных стрелков, колыхавших штыками среди грузинских намалеванных вывесок, простучавших орудийными лафетами среди лепных и узорных фасадов. Властвовал Сталин, одного за другим вырывавший из семьи ее любимых и близких, отправляя на войны, великие стройки, гнилые голодные нары. Ее тело было как вешее корявое дерево, где были нанесены письма и зарубки, свидетельства великих событий, имена знаменитых людей. Хранило на своей изрубленной коре деревянную летопись, удерживало в старом стволе слабые соки истории.

Он бережно мыл ей ноги, поливал из ковша ее голову, глядя, как прилипают к черепу тощие прядки. Мылил волосы, боясь, что они вдруг отлипнут и останутся у него в ладонях. И вдруг в прозрении, как сквозь толщу синеватого воздуха, увидел себя за столом, среди падающих тихих снегов, перед листом бумаги. Он пишет сцену в романе, где вспоминает омовение бабушки, звук падающей из крана струи, мокрый блеск электричества на эмалированной ванне, бабушкину руку, которой та отводит с лица потемневшую худую косицу. Бабушки уже нет, уже затерялся ее заношенный теплый халат и мягкие шлепанцы. Ее не существует в земной жизни, но она смотрит на него из стеклянной высоты, спокойно и внимательно наблюдая за тем, как он описывает сцену ее омовения.

– Как хорошо, – облегченно произнесла она, словно освобождаясь от бремени, – спасибо тебе, Мишенька...

А в нем вдруг испуг, приговоренность к тому, что должно неизбежно случиться. Это последнее ее омовение. Он смывает с нее последние блеклые краски земного бытия, прежде чем облечь в белые одежды и вынести под причитания смиренной родни. Он – не внук, а выбранный кем-то жрец, провожающий ее в бесконечное странствие, омывающий на дороге. И страстная к ней любовь, и бессилие, и ропот, и мольба к Тому, Кто создал этот необъяснимый и мучительный мир, наполнив его любовью и болью, неизбежностью расставания, надеждой на грядущую встречу, упованием на чудо бессмертия. Он держал над ее головой ковшик, проливая на сутулые плечи блестящую струйку воды. Молит Творца, чтобы Тот продлил ее жизнь, их совместное существование в этой маленькой милой квартире, где было им так хорошо. Умолял Творца взять его молодые силы, изъять у него часть жизни, передать их бабушке. Беззвучно молился, проливая на нее дрожащую водяную струйку.

И в ответ на его молитву – головокружение и бесшумный вздымающийся вихрь. Словно его и бабушку подняли в бесконечную высь, где не видно земли, а только они вдвоем среди загадочного, мерцающего пространства. Парят в невесомости, и он из ковша льет ей на плечи блестящую воду.

Он помог ей подняться из ванной. Поддерживая, почти перенес на стул, опустив среди пушистой белизны махрового полотенца. Укутал, оставил бабушку одну. Вырвался из душных, пахнущих мылом субтропиков, унося в прохладные комнаты вскипевший чайник. Мать поджидала его, как вестника совершенного священнодействия. Заварила крепчайший чай, нахлобучив на чайник с отколотым носиком пышнобедрую лоскутную бабу.

Через полчаса бабушка, укутанная во множество кофт, в теплом халате, с сиреневой косынкой на голове, покрытая шерстяным платком, степенно вкушала чай. Подносила к вытянутым губам голубую старинную чашку из своего свадебного сервиза. Громко отхлебывала. Закусывала крохотными кусочками сахара, которые заранее приготовила мать, орудуя щипчиками. Лицо бабушки выражало блаженство, утоление всех житейских забот и скорбей.

Не вытирая со лба блаженной испарины, она медленно укладывалась в приготовленную матерью постель. Надевала на высокий коричневый нос очки. Брала со столика маленькое с золотым обрезом Евангелие. Помещала книгу в желтое пятно настольной лампы. Коробейников со стороны смотрел, какое у нее серьезное, строгое, чудесное лицо. Как слабо и

вдохновенно шевелятся ее губы. Поблескивают очки. Вздывается и опускается на груди одеяло. Как пламенеют на коврике в ее изголовье рукодельные маки – ее молодое шитье. Старался угадать, какие строки текут мимо ее внимательных глаз.

Древний город вздымает над зубчатыми стенами каменные смуглые башни. Толпится темнолицый народ. Стелет в горячую пыль красные ковры, кидает шелковые подушки, сыплет свежие розы. На тонконогой хрупкой ослиати в овальные ворота въезжает Христос, и за край его белой хламиды прицепилась алая роза.

Глава 11

Коробейников решил навестить своего друга, архитектора-футуролога Шмелева, чья мастерская с макетом Города будущего размещалась в полуподвале угрюмого, запущенного дома невдалеке от Красной площади, по другую сторону ГУМа. Кварталы старинных купеческих лабазов, торговые склады, товарные хранилища, тяжелые, закопченные, грязно-желтого, ржавого цвета, напоминали откосы песчаника с зияющими провалами пещер, в которых таилась загадочная катакомбная жизнь. Путь в мастерскую пролегал через Красную площадь, куда Коробейников спустился по дуге моста, пропустив под собой солнечное ликование реки с легкомысленным белым корабликом, глядя, как вырастает впереди колючее и косматое, похожее на разноцветного петуха несусветное диво Василия Блаженного.

Площадь с самого детства действовала на Коробейникова таинственной, пугающе-восхитительной мощью, чья природа оставалась невыясненной. Словно место вокруг Кремля являло собой неземную материю, от которой веяло загадочной инопланетной красотой.

Брусчатка, черная, с холодным блеском, напоминала намагниченное железо, которое округло выступило из сердцевины земли, обнажая глубинную суть космического тела. Земное ядро вылупилась сквозь кору, мантию, неостывшие газы и жидкости и застыло в зазубринах, вмятинах, с тусклыми каплями света, какие бывают на старинных чугунных ядрах, пропущенных сквозь взрыв и огонь. Магнитные поля, невидимые, ощущались телом по легкому кружению головы, по звону крови и учатившемуся дыханию, которому, как на полюсе, не хватало кислорода, а также по густой, незамутненной синеве небес, какая бывает в стратосфере, где нет облаков и туманов. Подобные ощущения ожидают человека, попавшего на железную планету. Красная площадь, ее выпуклость и округлость, тусклый, смугло-коричневый блеск заставляли думать, что Кремль построен на громадном железном метеорите, прилетевшем из отдаленной галактики, взрывная волна которого до сих пор сотрясает землю, порождает войны, революции, великие переселения, смущения умов, заставляя громадный народ действовать и творить среди трех океанов.

Алый, нежно-телесный Кремль был существом, поселившимся на этой железной планете. Стены, прилепившиеся к черной поверхности, казались красной дышащей кожей морского моллюска, или бархатным влажным грибом на мокром камне, или огромной, с зубцами и колючками, сочной личинкой, по которой вдоль чувственного тела прокатывались едва различимые волны перистальтики. Слабые судороги, проталкивающие сгустки питательного вещества. Это алое гибкое животное было порождением инопланетной жизни, питалось металлами, магнитными полями, бьющим из небес излучением.

Такое же впечатление производил храм Василия Блаженного, казавшийся фантастической актинией моря. Колебался от подводных течений, поминутно менял цвет, выпускал и сжимал радужные щупальца и лепестки. Море, в котором поселилась актиния, было едкосиним, кислотным, с оттенком медного купороса.

Заросли серебряных и золотых крестов, солнечных чаш и соцветий были подобием хрупких мхов, выраставших под лазурью неземного неба. И эти мхи, наделенные разумом, обладали свойством вызывать в душе легкое веселящее чувство.

Мавзолей был кристаллом, вращенным среди колоссальных температур и давлений. Своей идеальной формой воспроизводил геометрическую теорему Вселенной, где конструкция соперничает с бесформенным хаосом, а интеллект — с бессмысленной бесконечностью. В недрах кристалла, запрессованный в грани и плоскости, таился загадочный сонный вирус. В дремлющем виде переносился из одной части Вселенной в другую. Попадая в благоприятные условия, просыпался, выступал на поверхности кристалла. Овладевал присутствующей на планете формой жизни, побуждая ее к революционным превращениям и катаклизмам.

На площади все было расставлено просторно, среди пустоты, ярко и красочно на черной поверхности. В пустотах пульсировала незримая энергия, копилась прозрачная плазма, которая подчинялась ритмам небесного тела. Вдруг что-то начинало меняться. Алая стена становилась сиреновой, покрывалась волнистыми голубыми тенями. Шатры излучали слюдяной трепещущий блеск. Набухали колючие бутоны Василия Блаженного, готовые превратиться в цветы. По серебряным крестам пробежал невидимый ветер, и в них, как в легких тростниках, возникал таинственный звон. Потревоженные звоном, от Мавзолея, словно с малиновых и розовых вод, бесшумно возносились загадочные существа, похожие на журавлей. Вытягивая длинные ноги, отливая стальной синевой, плавно парили над площадью, не касаясь земли, исчезая в полукруглой арке ворот. И среди этой светомузыки очарованная душа, как в волшебном сне, вспоминала свое предшествующее, внеземное существование. Предчувствовала сладкое освобождение от плоти.

Особенно поражала Коробейникова колокольня Ивана Великого. Ее белоснежный ствол одиноко и мощно возносился в слепящую пустоту, завершался солнечным золотом, от которого расходились прозрачные животворные волны. На вершине, под куполом, располагались три черных обруча, как если бы острым ножом очертили березу и срезали ленты коры. В этих черных кольчатых вырезках были размещены золотые буквы, слагаясь в надпись, которую невозможно было прочесть. Старинные церковные знаки были начертаны вокруг колокольни, и, чтобы их разглядеть, следовало воспарить в небеса и трижды облететь колокольню, складывая древние буквы в священное написание. В этой надписи Творец объяснял истинное устройство Вселенной, смысл мироздания, закон, по которому движутся светила, рождается и умирает материя, Божественный Абсолют соотносится со своими бесчисленными проявлениями. Все годы, что Коробейников являлся на площадь, он не мог прочесть эту надпись, казавшуюся криптограммой. Запрокидывал голову, пытался ее разобрать, но всякий раз начинало слепить глаза, надпись закрывалась золотым туманом, словно ее занавешивал непроглядный покров. И каждый раз он оставлял затею прочесть письмена. Откладывал на потом, веря, что наступит миг и ему откроется смысл сокровенного поднебесного текста.

Вот и теперь он пересек Красную площадь, чувствуя стопами ее громадную гравитацию, с трудом отклеивая подошвы от железной планеты. Воззрелся на колокольню, испытыв головокружение, слезную слепоту, обнаружив вместо надписи размытое золотое свечение.

Глава 12

Дверь подвала была покрашена в яркий малиновый цвет с лазурной каймой. Около кнопки звонка в старинное дерево была врезана легированная лопатка турбины сверхзвукового перехватчика. Возбуждающие цвета, остатки купеческого засова, очищенного от ржавчины, любовно смазанного глянцевитым маслом, стальная авиационная деталь превращали дверь в работу художника, поп-артиста, коим и являлся хозяин подвала футуролог Константин Шмелев.

Коробейников позвонил и был радостно встречен другом. Спустились по сырým ступеням в каменную глубину подвала, где мрачная катакомба внезапно превращалась в сводчатое, стерильно выбеленное помещение, слепящей белизной и сводами напоминавшее церковь. На белоснежных стенах, плоских, овальных, цилиндрических, любой предмет горел и слепил глаза. Коробка африканских бабочек, пойманных Шмелевым в Кении, с металлической зеленой пылью, потаенно сверкала прожилками, драгоценно переливалась узорами. Алое полотенце пленяло восхитительным северным орнаментом трав, веших деревьев, волшебных зверей и птиц. Холст Филонова, жемчужно-серый, сложенный из множества корпускул, полупрозрачных фигур и знаков, мерцал сквозь водяные слои донными отражениями, размытыми, утонувшими образами. В этой многослойной ряске, изрезанное тенями, в преломлении лучей, помещалось лицо человека, измученного дробностью мира, абсурдом множественности, дурной измельченной бесконечностью. Лицо страдальца разрывалось на части, растаскивалось в разные углы мироздания, но в изрезанном морщинами лбу, похожий на гайку с болтом, оставался центр, удерживающий единство мира.

– Ты пришел как раз к трапезе, которую и разделишь с нами. – Шмелев вводил Коробейникова в свою священную келью.

Коренастый, гибко подвижный, с пластикой дикого зверя и балетного танцора, Шмелев был облачен в неизменный тонкой вязки свитер с дырами и латками, из которого высывались сильные руки с чувствительными пальцами, непрерывно мастеровившими, клеившими, сжимавшими резец или кисть, пинцет или топориче. Этими пальцами расправлялись хрупкие бабочки, разглаживались старинные рукописи, снималась с крючка яркая хрустящая рыбина. Лицо Шмелева, сухое, скуластое, с узкими, мнительными глазами, было изрезано клетчатыми морщинами, как если бы долгое время было обмотано сетью. Такие степные азиатско-славянские лица рождаются в низовьях Урала, где долгое время воевали, торговали, обменивались товарами и женщинами ордынцы и казаки, создав порубежный народ, коварный, вольнолюбивый и стойкий.

– Шурочка, достань четвертый стакан для Михаила, – распорядился Шмелев, подводя Коробейникова к деревянному, без скатерти, столу, где двое других обитателей мастерской завершали приготовление к трапезе.

Шурочка, жена Шмелева, невысокая, прелестная, с лицом, какое бывает на млечно-туманных античных камнях, знающая свою прелесть и женскую власть над Шмелевым, приблизилась к Коробейникову. Слишком откровенно, дразня мужа, обняла гостя, прижавшись к нему полной грудью с проступавшими сквозь голубой джемпер сосками.

– Мишенька, когда тебя долго нет, у меня начинается вот здесь щемить, – засмеялась она, указывая себе на сердце и при этом приподнимая ладонью левую пышную грудь.

За этим ласково и смущенно следил Павлуша, молодой помощник Шмелева, с чьей помощью тот готовил макеты Города будущего. Рисовал и вычерчивал графики, клеил подрамники, создавая экспозицию для Всемирной выставки в Осаке, куда Шмелев не терял надежду попасть.

Лицо Павлуши было мягким, как пластилин. Казалось, если его нагреть, оно начнет опекаться, размывая очертания полных безвольных губ, невыразительных носа и скул. Зная свою невыразительность и невнятность, Павлуша обожал Шмелева, был в его воле, преданно взглядывал в его коричневое, властное, с пронзительными глазами лицо.

– Рады вам, Миша, – вяло улыбаясь, тихим бабьим голосом произнес Павлуша.

Кивнул, но не подал руки, ибо в ней был острый столовый нож, которым Павлуша резал кусок копченой лосятины, отсекая тонкие розоватые лепестки. Тут же, на досках стола, красовалась бутылка грузинского вина, блюдо с фиолетовым виноградом.

– Ну что у тебя с Осакой? – поинтересовался Коробейников, зная, что эта тема была для друга больной и неотступной.

– Боятся, не хотят решать. После твоей публикации интерес огромный. Приходят японцы, французы. Вчера заявили американцы. Перепечатки в иностранных газетах. Пишут в «Пари матч», что Шмелев – это архитектурный Гагарин, прокладывающий дорогу в непознанное. Во «Франкфуртер альгемайне» написали, что этим проектом Советы восстанавливают свое футурологическое измерение, формулируют «советский образ будущего». Все это пишут и говорят интеллектуалы, а чиновники смотрят оторопело, усматривают идеологическую диверсию. Не пускают в Японию.

– Ничего не могу обещать, но, мне кажется, появились влиятельные, властные люди, которые готовы помочь. Но не стану тебя обнадеживать.

– Ты и так сделал для меня очень много. Ты единственный, кто на ранней стадии оказался способным понять мои идеи. Потому что они и твои идеи. Мы добывали их вместе в наших путешествиях и беседах.

В этих словах было удивительное свойство Шмелева, делившегося с ближним своими достижениями и открытиями. Находящегося вблизи человека он вовлекал в вихри собственных откровений, делая соавтором. С помощью этой педагогики он создавал учеников и поклонников среди тех, кто хоть раз оказался рядом. Таким учеником стал закабаленный Павлуша, днями и ночами работавший над проектом, поверивший, что в футурологических фантазиях Шмелева есть и его прозрения. Такой ученицей несколько лет назад стала красавица Шурочка, утомленная легковесными обожателями, увидевшая в узкоглазом, похожем на азиата мыслителе неповторимую мощь, сулившую громадный успех.

– Знаешь, я почти завершил создание оптической машины. Если поеду в Осаку, смогу экспонировать идею Города будущего.

Он показал на белоснежные стены, на округлые своды и цилиндрические выступы, где ослепительно горели полотенца, иконы и бабочки. Чуть возвышался плоский подиум, где была смонтирована сферическая установка с окулярами, застекленными трубками, шарнирами и проводами, которые соединяли эту глазастую сферу с музыкальным проигрывателем. Эту систему по замыслу Шмелева изготовили его друзья, работавшие в секретном институте, где создавались спутники-шпионы, способные с высоты фотографировать объекты земли. Сама установка напоминала спутник, из которого выглядывали окуляры. Смысл этой фантастической системы был в том, что, начиная работать, она проецировала на стены и потолки множество сменявших друг друга слайдов. Воедино сливались природа и техника, памятники культуры и современные машины. По выгнутым и овальным поверхностям скользили цветы, авианосцы, махаоны и небоскребы. «Космическая музыка» в сочетании с лучами и спектрами создавала галлюциногенное ощущение полета сквозь пространство сна, сквозь миры и галактики, сквозь мистический разноцветный ландшафт головного мозга, в котором, словно в сладком бреде, возникали видения. Шмелев гордился своим «магическим фонарем». Был готов продемонстрировать Коробейникову его волшебство.

Они сидели за столом на струганых деревянных лавках. Шмелев держал в крепких, покрытых волосками пальцах стакан с черным вином. Играл напитком, качая в нем рубино-

вую каплю. Обращал свою речь к Павлуше, который внимал с благоговением, приоткрыв безвольный блаженный рот, наивно и восхищенно взирая на кумира водянисто-голубыми глазами:

– Павлуша, милый, позволь поблагодарить тебя за бескорыстную братскую помощь, без которой я бы не смог довершить мой грандиозный проект. В нем не только умение твоих талантливых неутомимых рук, но и твои замечательные идеи, твои оригинальные открытия, твоя удивительная просветленность, помогающая мне сформулировать мысли, до которых в одиночку я бы никогда не дошел. Ты настоящий артельщик, настоящий собрат. Я доверяю тебе. Пустил тебя в святая святых моего учения. Раскрыл замыслы, не ведомые никому. Я доверил тебе мою теорию, мой дом, мои тайные записи. Все самое святое, которым дурной человек мог бы воспользоваться мне во вред, а ты хранишь, сберегаешь, умножаешь.

Шмелев потянулся к умиленному Павлуше, чокнулся с ним, и тот дрожащей от волнения рукой поднес к губам стакан, стал пить. Красная струйка неопытно побежала по его вялому подбородку.

– Ну что вы, право, Константин Павлович, вы гений! А я всего лишь подмастерье!

– Котя, не поперхнись! – Шурочка мило и насмешливо обратилась к мужу, видя, как тот жадно жует копченый лепесток лосятины.

Этими легкими, метко вставляемыми насмешками она сбивала пафос шмелевских речей, прерывала неутомимые его рассуждения, в которых неудержимый ум футуролога, громоздя идеи и сведения, нагружал собеседника непосильной тяжестью.

Следующие восхваления были обращены Коробейникову.

– Миша, – испытывая неудержимую, нервную потребность говорить, произнес Шмелев, поднимая стакан с вином, который на фоне белой стены казался полупрозрачной рубиновой призмой. – Нас связывает не просто дружба, но и судьба, быть может, до смерти, как возвестило нам солнечное затмение в Бюрокане, когда, ты помнишь, по земле, словно серые волки, побежали стремительные хищные тени. Или тот газовый взрыв в Салехарде, когда мы сидели в тундре, глядя издали на огромный черно-рыжий клуб пламени. Словно два язычника-огнепоклонники смотрели на пламенный дух земли и пили водку. Или когда на танкере, на его огромной серебряной оболочке, плыли по Оби под легкими дождями и прозрачными радугами. Вышли на берег и стояли у кожаных чумов, в которых кашляли невидимые, прокопченные дымом, пропитанные рыбьим жиром ханты. На траве, легкие, как деревянные луки с тетивой, стояли распряженные нарты. Твои идеи о двух русских космосах – техническом и духовном – легли в основу моей теории русской цивилизации. Моя рациональная картина мира дополняется твоей религиозной, восполняя пробел моего мировоззрения. За тебя, мой любимый друг!

– Котя, у тебя к губам крошка пристала. – Шурочка потянула салфетку к одухотворенному лицу мужа, стерла несуществующую крошку.

Коробейникову была лестна похвала. Он дорожил дружбой с этим немолодым уникальным человеком, чьи познания были энциклопедичны, чей научный поиск и творческая натура сближали с людьми Ренессанса, кто мощно влиял на него необычными, не имеющими подражателей мыслями о государстве, в которое Шмелев, рационалист и художник, вкладывал священный смысл.

– Теперь о тебе, моя верная женушка. – На коричневом лице Шмелева, с острыми скулами, резкой сеткой морщин, страстно и нежно сверкнули узкие глаза. – Ты знаешь, вся моя жизнь посвящена приобретению знаний, созданию целостного мировоззрения. Я изучал геологию, проведя месяц на склоне Большого разлома в Эфиопии, где земля проломлена до сердцевины и в пропасти, едва заметная, мерцает речушка. Изучал этнографию, блуждая по Заонежью, рассматривая расстеленные по зеленой траве белые холсты с вышивкой, алые сарафаны, шитые жемчугами плащаницы. Я постигал боевую технику, управляя тан-

ком, забираясь в кабины бомбардировщиков, исследуя глобальную систему обнаружения ракет. Анализировал мировую политику и, чтобы слушать информационные агентства мира, выучил английский, немецкий, французский. Эгоцентрист, вокруг себя я наматывал пласты колоссальных знаний, окружал себя идеями и теориями, как кольцами Сатурна. Этот портрет Филонова, – Шмелев указал на стену, – сделан с меня. Как и он, я стягиваю болтом распадающийся, непознанный мир. Но с некоторых пор в центре этого мира находишься ты, жена. Выдерживаешь страшное давление мира, которое я переложил на тебя. И если ты, не дай Бог, сломаешься под его тяжестью, погибну не только я, но и Вселенная рассыплется на множество пылинок и бессмысленных мертвых частичек. Пью за тебя, за твоё терпение, твою энергию и красоту!

Шмелев чокнулся с Шурочкой, потянулся к её губам, но она отстранилась и со смехом сказала:

– Котя, ты смутил меня. Чувствую, что покраснела. Жаль, что нет у нас зеркала, а то бы увидела, как пылают мои бедные щечки!

На глазах Коробейникова протекал их роман, когда Шмелев, вернувшись из Африки, худой, некрасивый, одержимый фанатической идеей, появлялся в Доме архитектора с Шурочкой, по-девичьи прелестной и легкомысленной. Все любовались ими, находя идеальным сочетание её женственности и красоты с суровым обликом мужественного исследователя и фантаста. Она была его украшением, его драгоценной брошью, которую он постоянно держал перед влюбленными глазами, и на его суровом азиатском лице появлялась беззащитная нежность. Она забеременела, собиралась родить. Ревнуя её к неродившемуся ребёнку, страшась хлопот, отвлекающих от главного дела жизни, Шмелев настоял на аборте. Коробейников видел её после операции: почерневшая, подурневшая, с помутненным рассудком, бормотала безумные речи о чадоубийце и царе Ироде. Они почти расстались, она уехала от него. Но властью своей любви, подавляющей и страстной настойчивостью он вернул её. Она вновь налилась прежней свежестью и красотой, обрела былое легкомыслие и веселость. Вновь превратилась в нарядную драгоценную брошь, на которой лишь опытный ювелир мог различить паутинку трещины.

Теперь, в подземелье, среди белых стен, они поедали горько-сладкие, пропитанные дымом ломтики лосятины, запивали красным вином. Было слышно, как наверху, на земле, чуть слышно переливаются куранты, под звон которых от бронзовых дверей Мавзолея взлетают тонконогие журавли.

– Константин Павлович, я все не решался спросить, – сказал Павлуша, ненасытный слушатель и обожающий ученик, – вы часто употребляете слова «русская цивилизация». Но чем же она отличается от просто цивилизации, например западной?

Шмелеву только это и было нужно. Привыкший выступать в студенческих аудиториях, участник множества коллоквиумов и «круглых столов», думающий все время одну и ту же думу, он мог подхватывать с любого места свою теорию, разбрасывая перед собеседником ослепительные россыпи, собирать в драгоценный многогранный кристалл, вращать этот прозрачный искусственный алмаз, помещая различными гранями в разноцветные лучи, поражая воображение игрой импровизаций и экспромтов.

– Запад отпилил у готических соборов их тонкие шпили, остановил порыв в небо, сохранив от церквей одни плоские пьедесталы. Запад вырвал у античных храмов удерживающие колонны, и небо упало на землю, расплющив завоеванную духом вертикаль. Запад сколол с фасадов орнаменты и узоры барокко, оставив голые стены, лишив человека неутомимого и бескорыстного творчества. Запад строит огромную фантастическую мегамашину, которая, как страшная драга, жадно сжирает природу и культуру, создает свои валы и колеса из умертвленных народов, украшает свои машинные залы чучелами убитых китов и оленей, развешивает в своих салонах высушенные и раскрашенные маски великих учителей и твор-

цов. Со скрежетом движется по земле, выстригая джунгли, расплющивая города, выпивая океаны. Западная цивилизация отнимает у человечества свободу воли, превращая историю в питательную среду, где вызревает небывалое чудище, в застекленной кабине которого восседает электронный жестокий робот. Центр Помпиду в Париже – архитектурный прообраз этой бездуховной мегамашины...

Павлуша приоткрыл рот, внимая не смыслу, а звуку произносимых слов, упиваясь сопричастностью к этому великому человеку, которому поклонялся, был готов безраздельно служить. Из его приоткрытых безвольных губ стекала розовая от вина слюнка.

– Русская цивилизация, – продолжал с энтузиазмом Шмелев, отбрасывая на белую стену прозрачную тень, словно рисовал белым по белому, – предлагает великую гармоническую альтернативу. В жестокую неживую машину вселяет дух, который, как известно, дышит где хочет, в термоядерном «Такомаке» или в нефтепроводе «Сургут – Москва». Соединяет рукотворную технику и первозданную природу, исконного, непредсказуемого человека и его механическое подобие, доисторическое, стихийное время и управляемую историю. Наше русское прошлое наполнено такими страданиями, такими вселенскими скорбями, что они умилоствуют и одухотворяют машину, внесут в нее живую этику, испытают совершенство машины «слезой ребенка», «слезой оленя», «слезой срезанного травяного стебля». Технический космос, состоящий из космических кораблей и станций, инопланетных экспедиций и поселений, дополняется космосом духовным – откровениями Святых Отцов, народными песнями, стихами Пушкина, учением Вернадского. Это сулит великое, возможное только в России открытие...

Коробейников слышал эти мысли не единожды, в ином изложении, заключенные в иные метафоры. Каждый раз бывал взволнован этой проповедью русской гармонии. Захвачен «музыкой смыслов», столь созвучной его душе, желавшей видеть в жизни блаженство, преодоление бед и напастей, трат истребленного рода, когда безвинные смерти не призывали к возмездию, но сулили светлое искупление. Как икона Бориса и Глеба, павших под ножом Святополка, не требовала отмищения, а целила, спасала. Два коня, алый и белый, шли по цветам и травам, не оставляя кровавых следов. Открытие, о котором говорил Шмелев, уже было сделано. Следовало лишь трижды облететь колокольню Ивана Великого и прочитать золотую надпись.

– Константин Павлович, о каком открытии вы говорите? – замороженно улыбался Павлуша, бесцветными, обожающими глазами взирая на Шмелева, а тот, в кольчужном вязаном свитере, с азиатским лицом, с седеющей челкой на морщинистом лбу, был похож на степного батыра.

– Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Плюс абсолютное, объединяющее народы добро. Плюс города будущего на земле, в небесах и на море. Плюс овладение всеми науками и искусствами. Плюс постижение тайны генетического кода. Плюс искусственный интеллект. Плюс понимание языка птиц и цветов. Плюс использование гравитации. Плюс преодоление смерти. Плюс латание черных дыр галактики. Плюс воскрешение из мертвых всех, кто когда-то жил на земле. Плюс восстановление погибших участков Вселенной и возжигание потухших светил. Формула бессмертия существует, и она будет открыта в России. Русская история есть непрерывное приближение к бессмертию. Коммунизм, понимаемый как земной рай, станет обществом бессмертных людей. Русский авангард Платонова, Мельникова, Цаплина, Петрова-Водкина и Прокофьева – это лаборатория, где создавался эликсир вечной жизни. Не удивлюсь, если формула бессмертия прозвучит на языке Хлебникова, который именуется «святым»...

В Коробейникове продолжала звучать «музыка смыслов». Недавнее купание бабушки с молитвой о продлении ее тающей жизни. Тайное упование на чудо, связанное с воскрешением отца. Ожидаемый приезд тети Таси, с которым воссоздавалась умершая часть семьи,

возвращалось в родовую галактику непогасшее светило. Коммунизм, о котором столь патетично говорил Шмелев, становился не аляповатой надписью на красном куске кумача, который из года в год носили над головами равнодушные, с пустыми сердцами люди, а был загадочным словом, начертанном на кругах колокольни. Если воспарить к вершине Ивана Великого, трижды облететь белоснежный ствол, то из золотых букв составит поднебесное слово «коммунизм».

— Котя, дорогой, своими разговорами о бессмертии ты можешь кое-кого вогнать в гроб.

Шурочка прижала свою точеную ручку к жестким губам Шмелева, запрещая ему говорить. Но тот быстро поцеловал розовые пальчики, отстранил ее. Шагнул к подиуму, где была установлена электронная сфера со множеством проекторов и окуляров. Схватил миниатюрный пульт и одним нажатием кнопки выключил в помещении свет, а другим привел в действие «волшебный фонарь».

В мерцающей темноте зазвучала таинственная, тягучая музыка. Множество электронных гармоник, подобно волнам, нагоняли друг друга, складывались в певучие мелодии, изливались из неведомых инструментов. В огромной пустоте были натянуты струны, сладостно дышали изогнутые и удлиненные трубы, ударяли звонкие печальные клавиши. Синусоиды струились, расплетались, словно косы, на множество тончайших мелодий. Превращались в тихую капель и вдруг устремлялись в бурное громогласное падение. Словно в мироздании открывалась плотина и водопад звуков сливался в поднебесный ревуший хор.

В темноте на ослепительной озаренной стене возникали слайды. Вечерние зори с малиновыми разводами туч. Пышные, падающие из-за облаков лучи. Яркие радуги в зеленоватой лазури. Туманное, окруженное кольцами солнце. Бело-голубая в кристаллических оболочках луна.

Слайды скользили по стенам, выпукло текли по сводам, омывали выступы и изгибы, порождая головокружение. Казалось, ты вращаешься в невесомости среди космических спектров. Как во сне, ныряешь среди серебристых комет, облетаешь планеты и луны. Музыка возникает от твоих столкновений с лучами, зорями, прозрачными радугами.

Среди небесных явлений стали появляться океанские отмели, влажные, закутанные в перламутровые туманы утесы. Простирались громадные хребты с голубыми ледниками. Открывались снежные равнины с солнечными метелями. Возносились пышные заросли, сверкающие от дождя. Казалось, ты присутствуешь при сотворении Земли. Подобно Адаму, встаешь из кипящей волны океана, излетаешь из красного кратера, поднимаешься, румяный и свежий, из синего сугроба. На твою голую грудь садится чудесная изумрудная бабочка. Сквозь тебя, как сквозь воздух, протекает стадо антилоп. На огромных крыльях ты несешься в стае розовых пеликанов, ты — счастливый обитатель рая, сын девственной природы — наивно и счастливо славись Творца.

Коробейников испытывал блаженство. Понимал, что подвергается гипнозу светомузыки. Видения и галлюцинации меняли свои пропорции, переплетали формы. Напоминали сон, в который залетали образы твоих былых воплощений. Ты утрачивал имя, обличье и вдруг становился серебристой стрекозой на сочном влажном стебле. Или рыбой, тускло блеснувшей в омуте. Или маленькой антилопой с подогнутыми хрупкими ногами, размыто летящей в воздухе. Твоя личность, а вместе с ней обременительная, неотступная воля исчезали. Ты превращался в музыку, цвет, непрерывные переливы форм, сбрасывал их с себя, счастливо и послушно меняясь в руках Творца.

Постепенно в зарослях тропической зелени стали возникать едва различимые контуры оплетенных лианами статуй. Среди горячих песков просматривались контуры сфинксов. Вздвигались ступенчатые пирамиды, испещренные фигурами богов и животных. Возникло ослепительно-синее диво рублевской «Троицы». Ангельский лик с остроконечным крылом, работы Фра Беато Анджелико. Скульптуры Лаокоона напрягали вздутые мускулы. Золоче-

ные Будды улыбались в алом сумраке храмов. Скифская баба стояла в белесой высоте хакасской степи. На белых снегах пестрела собачья стая и толпа охотников Брейгеля. Казалось, Господь, пресыщенный творчеством, передал свой дар человеку, и тот, восхитившись, неумолимо продолжил Божественное дело, украшая землю творениями рук человеческих. Казалось, что ты рожден не из материнской утробы, а вылеплен скульптором из розовой глины, иссечен из белого камня, начертан на холсте восхитительной кистью.

Слайды, как бабочки, летали по комнате. Словно шелковые скатерти, соскальзывали на пол. Струились, как разноцветная вода, под ногами. Коробейников, захваченный в их прозрачный полет, вдруг обнаруживал себя среди кариатид, поддерживающих свод храма. Оказывался среди длинноносых чудовищ и перепончатых демонов Босха. Его лицо вдруг совпадало с золоченой китайской маской. Он мчался, разбрызгивая синюю воду, на алом коне. В его кулаке оказывался сияющий, из нержавеющей стали пролетарский молот, а бедро громадно и мощно прижималось к ноге колхозной металлической девы.

От перевоплощений кружилась голова. Он потерялся среди бесчисленных лиц, утратив свое собственное. В этой толпе его никто не мог обнаружить. Желаящий его умертвить разбивал амфору с изображением античного бога. Желаящий его сжечь бросал в огонь фаумский портрет. Желаящий его зарезать полосовал ножом обнаженную Венеру Джорджоне. Он был неуязвим, менял обличья, был везде и всегда. Спустился на землю из серебристого небесного облака. Выпорхнул из кокона изумрудным мотыльком. Застыл с опущенными веками на высоком скифском кургане.

Музыка сфер постепенно превращалась в музыку отбойных молотков, рев летящих ракет, грохот поездов и составов. Коробейников вдруг обнаружил, что у него на груди шипит звезда электрической сварки. Его туловище совпадает с корпусом громадной подводной лодки. Его щеки протискиваются сквозь кружевные фермы моста. В его паху разверзается взрыв, пышно выталкивая прозрачный мистический гриб. Крылатые машины летали по комнате, станки крутили бесчисленными колесами, вращались легированные голубые валы. Коробейников чувствовал, как его вместе с грудой болотной гнили сдвигает отточенный нож бульдозера. Он подвешен под крыло самолета, захлебывается, пропуская сквозь открытый рот тугие потоки ветра. Он был турбиной, превращающей в пену волжскую воду. Металлической сферой, в которую вонзается фиолетовая вольтова дуга.

Он терял рассудок. Гигантская центрифуга крутила его, перевертывала, перемешивала в нем все составы, дробила кости, выплескивала на стены цветные кляксы. Казалось, с него содрали скальп. Сколупнули свод черепа. Срезали студенистую поверхность мозга, где обитает сознание. Добрались до зыбкой перламутровой слизи, в которой сонно дремлет подсознание, таится человеческая сущность, заложена сокровенная судьба.

Он посмотрел себе на грудь. Она переливалась лучистой лазурью, ибо с грудью его совпало изображение бразильской бабочки, занимавшей все пространство комнаты. И пока оно скользило, превратив Коробейникова в узор на синем крыле, окружило сетчатыми прожилками и голубыми чешуйками, в нем мелькнула сумасшедшая мысль: он и есть бабочка. Бабочка – его тотемный зверь. Он ведет от нее свою родословную, и этот крылатый лазурный пращур исторгнут из подсознания магическим волшебством светомузыки.

Перевел взгляд на Шурочку. Увидел увеличенную розетку ядовитого болотного цветка с огненной сердцевинкой. Среди багровых лепестков, плотоядных тычинок, едкого клея улыбалось ее лицо, безумное, мстительное и прекрасное, исполненное отравы, сладострастия и невыносимого страдания.

Пугаясь бездны, куда проник его опьяненный, ясновидящий взгляд, он посмотрел на Павлушу. Картина Брейгеля «Несение креста» текла по стенам, огибала углы, меняла пропорции. Павлуша слился с жуткой личиной благостного идиота, в чьих глазах переливались липкие бельма, изо рта сочилась слюна, губы выдували бессмысленные пузыри, и весь его

расслабленный вид ужасающе подчеркивал громадную пустую Голгофу, где готовилось злодеяние.

Боясь своих прозрений, не желая угадать неотвратимую судьбу друга, которую он сам осветил своим «магическим фонарем», Коробейников посмотрел на Шмелева. Ротор шагающего экскаватора, усаженный стальными клыками, как черное железное солнце, вращался на лице Шмелева, вырывал и выскабливал глаза, срезал губы, стачивал косые скулы. Смешивал с кристаллическими грудками антрацита, сваливая в железнодорожный вагон.

Коробейников испытал ужас. Хотел кинуться к подиуму, разорвать многоцветные покровы, отыскать пульт, выключить дьявольскую «оптическую машину».

Внезапно музыка смолкла. Словно исчез сам воздух, через который передавался звук. В тишине, где все впечатления доставались только глазам, стали всплывать слайды. Загорались драгоценно на белой стене. Поражали свежестью, красотой. Как видения сменяли друг друга. И на всех была Шурочка. Обнаженная, золотистая, среди поля горящих подсолнухов, прижимая к животу теплую чашу цветка. В голубой реке, изгибаясь плавным бедром, поднимая ладонями серебристые брызги. Среди смуглых венцов избы, млечная, белая, воздев руки, открывая подмышки с косичками темных волос. На подоконнике зимнего окна, за которым – голубые снега, прозрачная сосулька, и она сжимает колени, розовеют ее соски, темнеет узкий пушистый лобок.

Было ощущение, что все предшествующее многообразие образов – парение светил, земные красоты, живописные картины и статуи, труд упорных машин, – все было для того, чтобы оказалась явлена миру эта чудная женственность. Эта женщина была творящей и оберегающей силой, вокруг которой вращались планеты, зажигались радуги, шли снегопады, возносились храмы, летели в небесах самолеты, плыли в морях корабли. Коробейников восхитился этой религиозной, языческой Вселенной, в центр которой произволом Шмелева была помещена любимая женщина. Лежала среди желтых кленовых листьев, на шерстяном покрывале, щурилась на осеннее солнце, знала, что художник смотрит на нее с обожанием. На кончики голых ног. На округлую нежность колен. На голубоватую тень под грудью. На розовую свежесть приоткрытых насмешливых губ.

– Ненавижу!.. – раздался хриплый, ужасный, утробный крик.

Сквозь прозрачные волны цвета нырнула тень. Слайды погасли. Загорелся ослепительный белый свет. Шурочка стояла с пультом в руках, с безумными глазами, уродливо перекошенным ртом, растрепанными волосами.

– Ненавижу тебя!.. – кричала она Шмелеву, и тот заслонялся локтем, словно в него летели камни. – Палач!.. Изрезал меня!.. Вырезал из меня моего мальчика и съел!.. Царь Ирод!.. Ты тот, кто убивает и ест младенцев!..

Она кинулась на него, колотила маленькими злыми кулаками в его грудь, обтянутую вязанным свитером. Он заслонялся, молчал. Павлуша оторопело тарашил водянистые рыбы глаза.

Раздался громкий телефонный звонок. Шмелев пошел снимать трубку. Шурочка беззвучно тряслась, закрывая лицо руками.

Через минуту Шмелев вернулся. Затравленный, зыряка узкими степными глазами, смотрел на жену, на идиотического Павлушу, на Коробейникова:

– Как странно... Сейчас звонили из Академии наук... Сообщили, что проект Города будущего утвержден к отправке на Всемирную выставку в Осаку...

В Коробейникове еще клубились многоцветные галлюцинации, путались и рвались разноцветные нити, стоял в ушах звериный, ненавидящий женский крик. И среди этой путаницы и большого испуга, необъяснимо связанное одно с другим, мелькнуло – исполинские статуи Бамиана, землистое, с мешочками у глаз лицо партийного советника Цукатова, летя-

щие в поднебесье быки, и другая женщина, в синих шелках, выходит под дождь, переносит через блестящий ручей сильную, красивую ногу.

Глава 13

Все эти дни Коробейников испытывал странное беспокойство, тревожное предчувствие. Невнятными знамениями и едва уловимыми признаками ему давалось понять, что завершается еще один период его жизни, целостный, яркий и сладостный. Как в горячем пятне света, какой бывает в летних смоляных сосняках, среди красных, благоухающих, нагретых стволов, пребывали рядом мама и бабушка, любимая жена и ненаглядные дети. Вышла в свет его первая долгожданная книга, где он с благоговением описывал это время. Но, описав, странным образом его исчерпал. Остановил безмятежное течение дней. Замер на шаткой, колеблемой грани, с которой не видно было, куда устремится жизнь.

Роман, который он замышлял, еще не имел сюжета. С несуществующими героями, с ненаписанными сценами являл собой предощущение романа. Однако вымысел таил в себе будущую жизнь и судьбу. В своей бессюжетной стадии роман был наполнен событиями и героями, подстерегавшими его в скором будущем. Не затеяв и откладывая роман, он откладывал свое будущее. Но любое обдумывание и прописывание романа грозило реальным воплощением фантазий. Существовала необъяснимая связь между вымыслом и жизнью, фантазией и судьбой. Увлекаясь новыми знакомствами, погружаясь в свежие отношения и связи, он стремился превратить их в литературные образы и сюжетные линии, но, изобретая будущие сцены и персонажи, он словно вносил их в свое реальное существование.

Это была рискованная и сладостная игра, где стиралась разница между вымыслом и реальностью. Вымыслом могла быть война, любовь, автомобильная катастрофа, политический заговор или смерть героя, которая странным образом сулила обернуться смертью автора. Он был создателем послушного ему литературного текста, но тот постепенно выходил из повиновения и сам управлял его жизнью. Это было увлекательным и пугающим таинством, в котором творец и творение менялись ролями, нарушалась иерархия, путались цели и следствия. Мир с нарушенными закономерностями, освобожденный от бремени природных и литературных законов, становился восхитительной и опасной утехой, в которой опаляющий жар вдруг сменялся подмораживающим холодком смерти.

С этими мыслями Коробейников погрузился в предполагаемую сцену романа, в пригородную зеленую электричку, которая понесла его со звоном и вихрем сквозь подмосковные березняки и поля в Новый Иерусалим – в разрушенный монастырь, где в старинной келье, в пристройке к убогому краеведческому музею, проживал его друг Левушка Русанов. Смотритель музея и краевед, он находился под мистическим воздействием великих монастырских развалин. Уверовал, крестился и теперь готовился к принятию сана.

В сводчатой палате, напоминавшей трапезную, стоял грубый стол, за которым восседали гости. Лампа под бумажным прогорелым абажуром ярко освещала водочные бутылки и мокрые стаканы. Нехитрая снедь состояла из вареной картошки, квашеной капусты, грубо нарезанной селедки. Монастырская еда вполне соответствовала сотрапезникам, собравшимся на свою вечерю. Левушка, очень худой, с голубоватыми нервными пальцами, перебиравшими граненый стакан, с ввалившимися аскетическими щеками и золотистой бородкой, с добрыми, любовно сияющими глазами. Тяжелый, черноволосый бородач Верхоустинский, похожий на тучного дьякона, ведущий свою родословную от сельских священников. Худенький, с лысой шаткой головкой, косым вялым ртом и робкими мигающими глазками Петруша Критский, своей средиземноморской фамилией указывающий на происхождение от греческих христиан. Желчный худой человек с черными, навывкат, глазами, пышными, вразлет, усами, по прозвищу Князь, надменным видом, грациозной речью, аристократической салфеткой за воротом подтверждающий присвоенный ему титул. Все уже не раз поднимались и чокались, выискивая для тоста патриотический или религиозный повод.

Коробейников, возбужденный выпитой водкой, чутко и радостно вслушивался в произносимые речи, в которых звучали грозные пророчества и чудесные ожидания. Такими речениями во все века полнились полутемные паперти, куда в дни расколов и религиозных гонений стекались на тайные встречи единоверцы. Страшась доносов и казней, укрывая от гонителей светочи, были готовы пострадать за Христа.

На стене висел застекленный образ Богородицы в резной золоченой раме с засушенными цветами шиповника. За линиями занавески прятался музейный склад экспонатов, состоящий из окаменелых ракушек, чучела совы, пшеничного снопа, заржавелой мосинской винтовки и портрета Маленкова, угодившего в музей после того, как попал в немилость. На другой оконечности комнаты притулились печальная, с изможденным красивым лицом жена Левушки Андроника и их маленький сын Алеша, с худой птичьей шейкой, большой головой и печальными глазами отрока Варфоломея, каким изобразил его художник Нестеров. Коробейников расширенными, запоминающими зрачками смотрел на черные закрученные усы Князя, на тяжелую и крепкую, как валенок, бороду Верхоустинского, на красные веки и фарфоровые синие глазки Петруши Критского. Вслушивался в застольные речи, напоминавшие исповеди.

– Братие! – обращался к застолью Левушка особым, проникновенно-любящим голосом, обладая даром расположить к себе, отчего вокруг всегда собирался ревностный кружок друзей и единомышленников, многие из которых, подобно Левушке, были поражены винной пагубой. – Каждый из нас, братие, шел к Богу своей неповторимой тропинкой. Эта узкая тропинка в конце концов вывела нас на тернистую столбовую дорогу, по которой к Спасителю возвращается вся наша матушка-Россия, в рубище, босая, с нищей сумой на плече...

Этот образ России-нищенки был столь трогателен и понятен собравшимся, что у Петруши Критского фарфоровые синие глазки мгновенно увлажнились слезами.

– Какие только искушения ни посылал мне лукавый на этом пути! В школе я собирался стать заговорщиком, собрать боевой отряд и с помощью динамита взорвать ненавистных партийных вождей. В университете углубился в историю, льстил себя мыслью, что овладею историческими и политическими науками, вступлю в партию и трансформирую изнутри эту богомерзкую власть, избавлю Россию от коммунизма. Отчаявшись что-либо сделать, я стал заниматься йогой, полагая, что это путь к индивидуальному спасению, и, стоя на голове, медитировал, пытаюсь разорвать кармический круг. И только попав сюда, в эту обитель, я оказался под могучим животворным влиянием православных святынь, где из каждого расколотого алтарного камня, из каждой поруганной колокольни или оскверненного надгробия смотрит Христос. Святой патриарх Никон, к чьей могиле мы сегодня непременно пойдем и помолимся за великого духовника земли русской, патриарх стал являться ко мне во сне. Был таким, каким изображала его парсуна: огромный, чернобородый, в золотых ризах. Держа в руках кипарисовый крест, подаренный ему антиохийским патриархом, о чем с подробностями повествует нам Павел Алепский. Никон вставал у меня в изголовье, произносил только одно слово: «Иди!» Так было не раз и не два. Однажды, после вещего сна, глубокой ночью я встал, зажег свечу и отправился в храм. Я ходил туда много раз по разрушенной лестнице, зная каждый пролом в стене, каждую развалину. Держа перед собой свечу, вдруг увидел под ногами крест, тот самый, с которым являлся Никон. Поднял, прижал к губам и, представляете, братие, чувствую, что он дивно благоухает пахучей сладкой смолой. Самшит. Крест тот самый, с каким являлся мне Никон. Он позвал меня в храм и положил на моем пути крест. Это был знак. Я тут же крестился, и теперь буду нести этот крест на Голгофу, как нес его наш Спаситель...

Все молча, с благоговением обдумывали услышанную исповедь. Верхоустинский ткнул щепотью в толстый лоб, косматую бороду, в нависшие сутулые плечи. Голосом простуженного басовитого дьякона произнес:

– Отцы, я вам вот что скажу. Душа – христианка, оттого отпадение русского человека от веры мнимо и временно. Мой дед по матери, знаете вы или нет, протоиерей в Вятской губернии, был замучен жидами. Комиссары приехали в село на подводах, согнали прихожан, деда моего избили в кровь, поставили на пороге храма. Жидок с револьвером вынес образ Спасителя и говорит: «Плюнь в икону, жить будешь!» Дед в крови. Борода выдрана. Приход вокруг плачет. Солдаты в баб из ружей целят. Дед осенил себя крестным знаменем, поцеловал образ: «Господи, да будет воля Твоя!» Тут ему пуля в лоб. Меня растили в городе, в интернате. Отдали в училище. Токарем стал, комсомольцем. Вытачивал на секретном заводе детали к ракетам. Деньги хорошие, похвальные грамоты, фотка на Доске почета. А все что-то скребет, не дает покоя, тянет в родовое село. Приезжаю, Боже ты мой, – разорение. От храма голые стены, мерзостные надписи в алтаре, на паперти собаки склеились. И такая во мне сердечная боль, как инфаркт. Будто мне ангел копьем ткнул в сердце, я и упал без дыхания. Очнулся, дождик теплый меня окропляет, и будто кто из тучки смотрит ласковыми глазами. Лица не вижу, а знаю, что это дед. Вот так вот, отцы, упал атеистом, а встал христианином. Помолился на родном пепелище и с тех пор живу и верую, что опять зазвонят колокола в нашем храме над Вяткой... – Верхоустинский снова перекрестился толстыми пальцами, и казалось, в щепотке у него зажат тонкий лучик, коим он себя осеняет. Одутловатое, отяжеленное бородой лицо стало детским и нежным.

Коробейников пребывал в печальном и сладостном вдохновении. За пределами тесной кельи, в угрюмой ночи простирались руины монастыря. Обломленные башни, рухнувшие купола, поверженные колокольни. Сновали гонители, рыскали богоборцы, пировали в грешных застольях лжецы и хулители. А здесь потаенно, как первохристиане, молились ревнители веры. Унесли в катакомбы святыне предания, начертав на сводах обители священный знак рыбы. Вот-вот растворятся двери, ворвется свирепая стража. Блестя доспехами, потрясая тяжелыми копьями, захлестнут на шее веревки. Погонят в Колизей, на арену, где в клетках рыкают львы. И все они – Левушка, воздев бирюзовые глаза, Верхоустинский, пав на колени, Петруша Критский с льющимися слезами, усатый истовый Князь, и он, Коробейников, – на круглой арене под рев языческой толпы встретят смерть мучеников. Над растерзанными телами протечет в небесах волшебная голубая звезда.

– А я, как говорится, был доходягой, – торопился поведать историю своего воцерковления Петруша Критский, – помирал вчистую. Лечили меня, резали, кололи. Все органы из меня повынимали. Куда только не возили, каким докторам не показывали! Те отказались лечить. Отдали обратно матери, чтобы дома помер. Рука, не поверите, как нитка тонкая. Кожа – чуть потяни, слезает. Есть, дышать не могу. Скорей бы, думаю, помереть. Приехала к нам тетушка Феня, мамина сестра, богомольная, из Почаевской лавры. Подсела ко мне и говорит: «Петя, если мы сейчас с тобою помолимся и ты поверишь, что Господь вернет тебе здоровье, то и сбудется по вере твоей». Зажгла свечу, встала рядом с моей кроватью на колени, и стали мы молиться. Я из последних сил приподнялся на подушках и возопил: «Господи, – говорю, – ты есть! Ты меня любишь! Верни здоровье, а я только тебя и люблю!» Вдруг почувствовал, как что-то в меня влилось, будто молоко парное. И такое блаженство, такая благодать, что я тут же уснул. Спал трое суток, а проснувшись, стал выздоравливать. С тех пор ничего без Бога не делаю. Только его и славлю!..

Болезненной худобой, прозрачной кожей, хрупкими птичьими косточками Петруша Критский напоминал воскрешенные мощи, которые так и не сумели вернуть себе цветущую здоровую плоть, а лишь чудом сохранили ее остатки. Блаженные, умиленно слезящиеся глаза благодарили мир, который вновь его принял и которому он без устали был готов пересказывать принесенную благую весть.

– А я вам так скажу, господа, – захватив в кулак черный струящийся ус, сурово произнес Князь, – жида убили православного государя императора, а русский народ не засту-

пился, да-с!.. Принял большевистское иго, за что и выпил полную чашу крови и слез, да-с!.. И еще, уверяю вас, пить будет, покуда не покается, не погребет останки августейшего монарха в Санкт-Петербурге и на месте царской Голгофы не построит храм-на-Крови, да-с!.. Я Кириллу Владимировичу Романову в Париж письмо написал, где присягнул на верность ему, законному наследнику русского престола. Сказал, что почитаю себя его верным слугой и прошу располагать моей жизнью. За что гэбэшники посадили меня в психушку на три года, стремясь превратить в идиота, да-с!..

Люди, которым внимал Коробейников, были скрытники, беглецы. Добровольно отрицали яркую, полную внешних соблазнов жизнь. Предпочли неявное, тайное, почти несуществующее бытие, увильнувшее от смертельных ударов. В глуши, на пустырях, в убогих склепах потаенно переживали беду. Молили о чуде, ждали гласа небесного, уповали на возрождение православной империи. Были готовы погибнуть на кресте, на дыбе, у расстрельной стены. Коробейникову было сладостно погружение в эти катакомбы и подземные церкви, где движутся вереницы тихих людей, держа перед глазами тонкие свечки, закрывая их от подземного ветра прозрачными ладонями.

– Братие, – Левушка доверительно, понизив голос, преисполненный священного страха, делился с сотрапезниками, – имею вам сообщать, что на прошлой неделе у меня произошла встреча с иеромонахом Амвросием, совершившим паломничество в Иерусалим. Ему доподлинно стало известно, что там родился Антихрист. Младенцу два года. К началу следующего века ему исполнится тридцать три. Это будет возрастом его воцарения. К тому времени уже должна прокатиться по земле третья мировая война. Она опустошит планету, и на крови, среди остывающих ядерных пепелищ, воцарится Князь Тьмы.

К этому моменту завершится восстановления храма Соломона, что знаменует собой начало последних времен. Отец Амвросий сообщил, что младенец красив и румян, на лбу у него, как у козлика, намечены рожки. Евреи держат его в секретном месте и откроют миру, когда исполнятся сроки...

– А вы слышали, отцы, о явлении Богородицы на крыше коптского храма в Каире? – Верхоустинский уткнул бороду в стол, понизил голос до сиплого восторженного шепота, словно боялся притаившихся за окном согладатаев. – Доподлинно известно, что Святая Дева являлась в течение всей весны на кровле в виде светящегося облака, повторяющего контуры Божьей Матери. Ее удалось заснять на фото пленку. Это знамение в Египте, соседствующем со Святой землей, многие толкуют как приближение конца света. Богородица таким образом подает знак христианам покаяться перед концом. Отцы, подумать только, мы с вами окажемся свидетелями пророчества, данного нам в откровении Иоанна. Ибо мы и есть последние хранители православной веры...

У Коробейникова начиналось головокружение от мысли, что они, здесь сидящие, и впрямь станут свидетелями пышного и жуткого действия, напоминающего золоченую картину с обилием красного, черного. Падает в море загадочная звезда Горынь, превращая воды в рубиновое вино. Скатывается с неба звезда Полынь, от которой по джунглям, степям и саваннам разлетаются рыжие пожары, гонят перед собой гибнущие табуны. На улице Горького, рядом с «Елисеевым», и на площади Маяковского, рядом с залом Чайковского, появляются стрекочущие металлические чудища, именуемые саранчой, с зубьями, лезвиями, острями, похожими на самоходные комбайны, от которых отлетают отрубленные головы в шляпах и женских платках. Угроза войны с ракетами, летящими через океан, ядерными грибами над столицами мира, ползущие по Европе и Азии толпища стреляющих танков обретали здесь, в застолье, вид экзотической притчи, в достоверности которой убеждали истовые лица присутствующих.

– Все говорят: «Мир, мир», а это значит «Война, война». – Петруша Критский вносил свою лепту пророчеств. – В Священном Писании как сказано? Говорят о безопасности –

значит готовят погибель. «И в доме Бога моего сделают овощехранилище». Это ведь тоже про нас. В каждой церкви – где склад картофеля, где зерно, а где колхозное сено держат. А еще, говорят, в Москве на правительственных машинах появились номера 666, что значит число зверя...

– На прошлой неделе посетил Волочек, да-с, – Князь наматывал на палец черно-синий ус, – там у матушки Ефросиньи икона государя императора мироточит. Меня по большому секрету по рекомендации отца дьякона к ней в дом провели. И что бы вы думали? Из бумажной иконы, где государь, государыня, дочери и наследник, а также сонмы мучеников за веру, от жидов убиенных, образ весь кровью обрызган, и кровь эта течет по иконе и капает на пол. Кроме того, весь потолок над божницей кровью набух, вот-вот польется. Это, видно, к большой русской крови, господя, не иначе, да-с...

Коробейников испытывал странное раздвоение, словно присутствовал в двух параллельных мирах, в двух историях, в двух текущих потоках времени. Одно, реальное, в котором родился и рос, читал газеты и книги, распевал пионерские песни, взирал на портреты вождей в дни государственных праздников, жил по законам и уложениям, стремясь в своих книгах и очерках изобразить яростную, восхитительную реальность, угадать в ней неявное, влекущее будущее. Другое время, потаенное и незримое, как грунтовые воды, куда ушла и укрылась изгнанная история, унеся с собой попранное величие, оскверненные святыни, искаженные предания. Продолжало течь, как подземный ручей, в сумерках подполья, в сказаниях и слухах, передаваемых из уст в уста, в ожидании чуда, когда в ослепительной вспышке лучей, под звон колоколов на белом коне въедет в Москву император, и в огромном, восставшем из руин соборе, среди золотых облачений, на царскую голову будет возложен алмазный венец. Тайное время станет явным, а явное будет изгнано и исчезнет в подполье. Времена поменяются местами. История красных знамен, революционных походов, сталинских строек и победных партийных съездов уйдет в катакомбы. На тайные посиделки, страшась гонений, станут собираться ревнители красной религии, ветераны партийной истории. Шепотом из уст в уста будут пересказывать апокрифы коммунистической веры, сохраняя их от забвения.

– Братие... – Левушка своими худыми аскетическими щеками, высоким лбом, огненной, с золотыми завитками бородкой, огромными голубыми глазами, под которыми кисточкой были проложены фиолетовые тени, напоминал иконописный образ. Коробейникову хотелось накинуть ему на плечи долго-полое облачение с черными крестами, вложить в руки раскрытую книгу, над которой стеблевидные пальцы друга сложатся в троеперстие. – Я все больше убеждаюсь, братие, что нам необходимо издавать рукописный православный журнал. Мы будем собирать в него знамения, описание чудес, философские и религиозные статьи наших верующих единомышленников. Будем отмечать все признаки приближающегося второго пришествия, которое неминуемо случится здесь, в нашей многострадальной России. Своим мученичеством Россия вымолила право приять у себя Христа. Я предлагаю назвать наш будущий журнал – «Новый Иерусалим». Если агенты ГБ выловят нас, что ж, мы примем муку Христову, как наши предшественники ее принимали. Быть может, эта мука и будет последней каплей, что переполнит чашу русских страданий, после которых и явится нам Спаситель.

– Россия на крестах и на муках стоит, – сурово согласился Верхоустинский. – Мы молимся на Христа Распятого.

– Пусть светлейший Князь расскажет, как ходил на могилу царя, – промолвил Петруша Критский, тихо ликуя при мысли, что им всем уготована мученическая кончина, – и его чудесный рассказ вставим в журнал. Расскажи, Князь, будь добр...

Князь строго повел бровью. Соблюдая манеры, отвернул голову и осторожно откашлялся в кулак. Суровое, со следами душевных мук лицо, перечеркнутое линией черно-синих усов, исполнилось благоговейного света.

– Да-с, господа, я в самом деле предпринял паломничество к месту тайного погребения государя императора. Мой друг, потомок белогвардейского генерала, с коим мы провели три мученических года в гэбэшной психушке, был родом из Екатеринбурга. Перед тем как умереть, не вынеся медицинских пыток, он на больничной простыне кровью из разрезанной вены начертил карту с местонахождением царской могилы. Я оторвал этот кусок простыни и, выйдя на свободу, тотчас отправился в Екатеринбург, да-с... Доставал с груди этот писанный кровью чертеж, сверяя мой путь. Не стану утомлять вас рассказом о том, как в пригородном поезде я уклонялся от слежки гэбистов, переодетых контролерами. Как на сельской дороге меня чуть не сбил грузовик, за рулем которого сидел тот же следователь, что допрашивал меня перед тем, как отправить в психушку. Кровь моего несчастного друга пламенела на обрывке простыни, и казалось, что голос его указывает мне путь, да-с... С проселка я свернул на лесную тропинку и долго шел в суровом бору среди замшелых елей. Ни голоса, ни птичьего крика, ни шума ветра в вершинах. Тропка почти исчезла. Я шагал в заболоченной, поросшей красными цветами колее, понимая, что здесь когда-то двигался страшный грузовик с телами расстрелянной царской семьи. Кровь капала сквозь кузов на землю, проросла алыми сочными цветами. Я выбился из сил, мне казалось, что я заблудился, как вдруг, господа, я почувствовал, что стою возле царской могилы. Никаких внешних признаков, только малое углубление, залитое водой, окруженное красными соцветиями. Но из этого углубления, как из чаши, восходил прозрачный столп света, как если бы глубоко в земле находился прожектор, его свет просачивался наружу, возносился к вершинам елей. Господа, я испытал такое непередаваемое счастье, такую любовь. Благодарность Богу за то, что он сделал меня сопричастным великому таинству. Показал мне Свет Фаворский, что свидетельствует о святости царя-мученика, о нетленности его плоти, которую палачи сначала пробили пулями, потом облили кислотой, а затем сожгли. Но нетленность святых частичек обнаружила себя этим волшебным свечением, да-с... Я встал на колени и начал молиться. Просто читал Христову молитву единожды, дважды, десять, сто раз. Чувствовал, как меняется вокруг мир, как благоухает воздух елеем, как светлеет в сумрачном еловом бору. Вдруг на еловую ветку, что склонилась к моей голове, прилетела сойка. Розовая нежная грудь. Лазурные крылья такой синевы, как на рублевской «Троице». Не боялась меня, уселась рядом, смотрела своим чудесным маленьким глазом, как я молюсь, да-с... Господа, вы можете меня осудить, можете найти в моих словах признаки ереси и даже богохульства, но, видит Бог, господа, я был уверен, что это государь император. Превратился в птицу, прилетел взглянуть на меня, да-с... Я поклонился ему и присягнул на верность. Мне показалось, что вещая птица в знак благодарности наклонила свою головку. Потом она улетела, свет в лесу начал меркнуть, а у меня на душе такое тихое счастье, такое благолепие, вера в премудрость Божию, любовь к моему императору... Я зачерпнул в этом месте горстку земли и положил в клочок простыни с кровавыми письменами. Туда же положил пять красных цветочков, по числу убиенных мучеников. Теперь я ношу на груди эту подушечку со святыми частичками, и она хранит меня от напастей, да-с...

Князь плакал, слезы прозрачно висели на грозных усах. Расстегнул на груди рубаху. Показал малую, сшитую из полотна подушечку, висевшую рядом с нательным крестом. Снял с шеи грубую бечеву, притороченную к священной ладанке. Поцеловал подушечку, приблизив к ней дрожащие губы и мокрые усы.

– Князь, дай и нам приложиться!.. – попросил Верхоустинский.

Князь пустил в застолье подушечку. Каждый благоговейно припадал к ней губами, целуя горстку лесной земли из уральского леса, где содержались молекулы преображенной царской плоти.

Коробейников принял от Левушки подушечку с коричнево-ржавым отпечатком запекшейся крови. Держал секунду перед глазами, испытывая странное недоумение, робость,

страх перед фетишем, отторжение от него и сладостное влечение, мучительную веру в одоление смерти, в волшебное претворение брэнной плоти. Перед глазами его возникло августейшее семейство, каким было явлено на фотографии, напоминавшей старинные снимки в его фамильном альбоме. Царь, сидящая подле него царица, прелестные великие княжны, стоящие за плечами родителей, цесаревич, нежный отрок на коленях у матери. В глазах у Коробейникова был горячий туман. Все они были в этой маленькой ладанке, среди перетертых волокон лесного грунта. Сердцу стало горячо, восхитительно. Он прижался губами к подушечке, почувствовал теплый запах сухого торфа.

Верхоуcтинский схватил бутылку водки. Наполнил граненые стаканы. Тяжко, мощно поднялся, распрямив сутулые плечи. Торжественно воздел сияющие глаза:

– Отцы, выпьем за скорое возвращение святой православной монархии на русскую землю! Пусть сгинет жидовская власть, и вновь над Кремлем воссияют имперские золотые орлы!

Все бодро вскочили.

– Смерть жидам! – тонко воскликнул Петруша Критский.

– За святую Русь! – вторил ему Левушка.

– За Владимира Кирилловича Романова, наследника русского престола! – Князь держал стакан, по-гвардейски отведя в сторону локоть.

Все чокнулись, выпили. Коробейников, глотая водку, чувствуя, как проливается внутрь жидкий огонь, начинал падать, стремительно летел куда-то вниз, в бездонность, закрыв глаза, перевертываясь, как в затяжном парашютном прыжке, покуда не ударился о бесшумную преграду, толкнувшую его обратно ввысь. Взлетел и очнулся от бесшумного удара света. Монастырская келья, куда он вернулся, показалась вдруг белоснежной, сверкающей, будто за узким окном взошло ослепительное ночное солнце. Все драгоценно сияло: истовые лица собравшихся, мокрые граненые стаканы, зеленоватая бутылка водки, невысохшие слезы на усах Князя, восхищенные голубые глаза Левушки. Опьянение было подобно солнечному удару, восхитительно изменило конфигурацию мира, в котором все предметы утратили симметрию, изменили перспективу. Одни, малозначительные, как разбросанные на столе вилки и ножи, ушли далеко в сужающуюся бесконечность. Другие – такие, как золотистая борода друга Левушки, цветок шиповника в застекленной иконе, слезинки на усах Князя, – придвинулись к самым глазам. Он встал из-за стола и, счастливо качаясь, ушел за занавеску, где прятались экспонаты музея. Там и нашел его Левушка:

– Миша, дорогой, хотел с тобой поделиться... Мне открылось величие Нового Иерусалима, величие патриаршего замысла. Никон ждал второго пришествия, промыслительно знал, что оно случится в России, и, затеяв монастырь, готовил место, куда явится Господь, чтобы здесь, в этой дивной обители, всем клиром, во всем благолепии и вере встретить Христа... Он нарек это место Иерусалимом, а милую речку Истру – Иорданом, а берега с перелесками, где мы любим с тобой гулять, нарек Фавором. Здесь же, в пределах монастыря, он устроил Голгофу, насадил Гефсиманский сад, обозначил крестный путь... Ты понимаешь, что он сотворил? Он перенес Святую землю из еврейской пустыни сюда, в Россию. Не просто названия рек и холмов, но сами координаты святынь, что равносильно смещению земной оси, изменению ее места во Вселенной. Ибо второе пришествие и есть чудесное преобразование земли и всей Вселенной. Крест, на котором распят Спаситель, и есть хранитель всей Вселенной, как поется в акафисте...

Левушка восторженно сиял голубыми глазами. Его аскетическое, с впалыми щеками и золотой бородакой лицо выражало ликование. Подобно Коробейникову, он пережил солнечный удар. Пролетел по невидимым головокружительным орбитам и вернулся сюда, за утлую занавеску, приобретая огромные знания, предлагая их другу в ослепительном блеске ликующего ночного светила.

– Миша, ты только представь, именно сюда при нашей с тобой жизни, через год, а быть может, через минуту спустится Христос. Сейчас мы выйдем в темную ночь, а вдоль монастырских стен, окруженный сиянием, чуть касаясь босыми стопами травы, идет навстречу Христос.

Коробейников вместе с другом восхищался этим громадным открытием, которое порывало с обыденностью, прекращало изнурительное течение дней, вело к завершению времени, к свертыванию в свиток бесконечного летосчисления, стирало до белого листа всю бессмысленную историю, в которой теперь открывалась великая завершающая цель – идущий по ночным росистым травам Христос. Левушка произносил сейчас то, что было известно Коробейникову, было известно футурологу Шмелеву, известно патриарху Никону. Каждый из них на свой лад и напев, своими верящими, жаждущими устами пел осанну, вызывая к чуду, к преображению земли и неба, рисуя дивными красками, золотом и самоцветами, киноварью и лазурью образ русского рая.

Левушка угадал его мысли, ибо оба они переживали одно откровение:

– Ведь мы в раю!.. Новый Иерусалим воздвигнут!.. Христос среди нас!..

Коробейников, обретя взгляд «испуганной орлицы», озирался вокруг. Утлая, косо повешенная занавесочка, наваленные один на другой ящики с музейными экспонатами – все казалось преображенным, утратило земную вещественность, было прозрачным, открывало свой потаенный, бессмертный смысл. Не изношенные, потерявшиеся во времени предметы окружали его, а символы, священные знаки, намеки на великое таинство. Полуосыпанный, с поломанными колосьями сноп являл образ великой жатвы, куда будут собраны все праведники, все святые деяния, все богооткровенные слова. Заржавелая мосинская винтовка с запекшимся затвором и обломанным штыком была священным оружием, наподобие меча, который принес Христос в земное бытие, – рассек мироздание на добро и зло, проколол острием глухой покров, отделяющий свет от тьмы, всадил разящую пулю в черную дыру Вселенной, умертвив в пещере злого дракона, взрастив из пули, как из волшебного зерна, сад небесный. Смятый, запыленный портрет Маленкова с одутловатыми бабьими щеками, невеселыми глазами неудачника, невыразительным вялым ртом теперь светился, подобно иконе, и в этом образе витала душа, которая лишь на время обрела бренное земное обличье, готова покинуть его, вернуться на свою ослепительную горную Родину.

– Миша, друг мой любезный, давай осушим с тобой эту чару за чудо нашей встречи, за удивительное время, в которое нам довелось жить... – Левушка, покинувший было музейный запасник, вновь появился. Откинув занавеску, держал два стакана с водкой, протягивал один Коробейникову. Следом проскользнул сын Левушки Алеша, худенький, с голубоватой шейкой, умоляющими большими глазами:

– Папа, не пей... Мама говорит, тебе нельзя пить... Она опять плакать будет...

Левушка, держа одной рукой стакан, другой обнял сына, нежно поцеловал в бледный выпуклый лоб:

– Алешенька, это ничего... не страшно... это я в последний раз... Эту пагубу мы одолеем... Я тебе обещаю... Ну иди, мой милый, иди. – Он ласково выпроводил сына, вновь обратился к Коробейникову: – Что я тебе хочу сказать, Миша... Давно собирался... Прости ради бога, но ты пребываешь в прельщении... Тебе Господом дан редкий талант, у тебя чуткое возвышенное сердце, но ты, поверь, на ложном пути... Твое увлечение атрибутами государства, упоение техникой, воспевание того, что ты сам называешь мегамашиной... Это соблазн, уход от вечных животворящих истин... Нет правды в машине... Мегамашина – это и есть атеистическое безбожное государство. Это и есть Сатана, овеществленный в нынешней грешной цивилизации князь мира сего... Ты должен с этим порвать...

– Но ведь сказано: «Дух дышит, где хочет...» – слабо сопротивлялся Коробейников, не чувствуя в себе полемиического жара, созерцая кремневые топоры и бронзовые наконец-

ники сквозь запыленное стекло музейной коробки, где они светились, словно драгоценные украшения. – Когда-то Дух дышал только в храме, только в обители жрецов, но потом он вырвался из чертога фарисеев и саддукеев и обнаружил себя среди нищих рыбарей, «малых мира сего». Почему ты считаешь, что он не дышит в танке Т-34, штурмующем Берлин, или в великолепном городе, возводимом в сибирской тайге... Задача художника – одухотворить машину, обезопасить ее, сделать вместилищем Духа живого...

– Миша, это ересь, затмение... Мишенька, милый, ведь ты не от мира сего... Говорю тебе, приди ко Христу!.. Крестись!.. Через несколько дней я принимаю сан и готов крестить тебя первым из моих прихожан здесь, в Иордане, под стенами Нового Иерусалима... Ты сразу почувствуешь, что приобщился истины... Христос войдет в тебя, приумножит твой талант, направит его на служение небесной красоте...

Левушка страстно взирал на него яркими глазами апостола, побуждая креститься, спасти заблудшую душу, успеть с этим дивным таинством к моменту, когда во всей своей грозной славе явится на землю Христос. И тогда вместе они встретят его ликующими псалмами.

– Мир чудесен, находится в руках Божиих. Как знать, мой друг, быть может, мы завершим свои дни монахами в этой разоренной ныне обители, которая воссияет из руин в Божественном блеске...

Коробейникову было сладостно внимать. Он вдруг подумал, что многие борются за его душу, влекут в свою веру. Редактор Стремжинский манит в партию, обещая приобщить к тайнам политики, повести к вершинам успеха. Друг Левушка зовет в церковь, побуждая креститься, обещая чудесное прозрение и нетленную жизнь. Но он повременит, еще задержится на таинственном перепутье, на загадочной развилке дорог, от которой одна ведет к великолепной стомерной громаде, к прекрасной и пленительной башне. А другая – к тихому сельскому храму с покосившейся луковкой, с убогими сырыми могилками, на которых лежат поминальные гроздья рябины. Он сделает выбор, но не теперь, не сейчас. В романе, который ему предстоит написать, его герой, а значит, и он сам, Коробейников, пройдет путями искушений и трат и, умудренный скорбями, сделает выбор.

– Ну что, брат, давай опустошим наши чары... – Левушка тянул свой стакан.

Занавеска приоткрылась, и появилась жена Левушки Андроника со своим красивым изможденным лицом, на котором большие, греческие, обведенные темными кругами глаза глядели испуганно, умоляюще.

– Лева, ну я тебя слезно молю, ну не пей же!.. Это погубит тебя!.. Ты собираешься принять сан, проповедовать чистую жизнь, а сам отравлен этим пороком. Чему ты сможешь научить людей? Тебя ждет позор...

– Матушка Андроника, уверяю тебя, это последний стакан, который я выпиваю перед принятием сана, и затем отрекаюсь от вина. Не оно мной правит, а я им. Говорю ему «нет» и отвергаю его... Ты понимаешь, Миша, ее тревога естественна. – Он обратился к Коробейникову, указывая стаканом на жену. – Она покуда не понимает меня, не понимает смысла моих деяний. Она – гречанка, светская, суетная женщина. Мечтает о развлечениях, театрах, веселом обществе, а я предлагаю ей путь скитаний, путь служения. Нас ждет захолустье, какой-нибудь бедный глухой приход, где нет танцевальных залов и светских гостиных, но смиренное служение и подвиг... Милая моя жена, – он снова повернулся к Андронике, обратился к ней проникновенно и ласково, как говорят с малыми детьми или домашними, любимыми, несмышленными животными, – ты мне доверься. Постепенно ты полюбишь нашу тихую смиренную жизнь. Ты – гречанка. Значит, в твоей крови текут воспоминания о православной праматери Византии. Ты предрасположена к вере, будешь стоять на ней крепче меня, поддерживать меня в минуты моих слабостей...

– Миша, ну скажи ему, чтоб не пил... На что он себя обрекает? – безнадежно и горько произнесла Андроника, и ее темные, готовые к слезам глаза скрылись за пологом.

– Давай, брат, выпьем, – торопливо, жадно глядя на водку, сказал Левушка.

Они выпили, и Коробейников почувствовал, как полыхнуло у глаз голубое пламя и ярче, ослепительней засверкало ночное солнце.

– Братие. – Левушка вышел из-под полога, обращаясь к единоверцам. – Теперь, как мы и хотели, настало время отправиться к могиле преподобного патриарха Никона, помолиться и испросить у великого молитвенника Земли Русской, ответных молитв.

Все они накинули кто кофты и куртки, кто поношенные пальто. Оставили жаркую, озаренную келью, ступили в ночной воздух.

Коробейников с пылающим лицом вдыхал сладкий, студеной воздух великолепной августовской ночи. Неровные гребни взорванных стен и башен, развалины монастырских соборов были похожи на черные скалы, накрытые сверху огромным дышащим небом. Пылали мириады созвездий, мерцали белые жемчужные сгустки, разноцветно переливались близкие и далекие звезды, проносились медные летучие искры, внезапно вспыхивали алые, голубые, изумрудные блески и тут же пропадали среди млечных туманов. Коробейников испытывал восторг, ступая по черным мокрым лопухам, задевая за колючие травы. Видел, как на зыбкой тропке колышутся впереди фигуры спутников. Левушка вывел их сквозь пролом наружу, и с высоты монастырской горы открылись ночные луга, недвижно зачернели деревья, едва различимо замерцала река и, далекие, восходящие к звездам, волнисто потянулись леса. Коробейников чувствовал святость этих ночных пространств, исходившую от них нежность, потаенное свечение, неуловимое для глаз, но ощутимое для любящего чуткого сердца. Великий патриарх данной ему Божественной силой совершил перенесение евангельских святынь в эти подмосковные поля и деревни. Коробейников вглядывался в ночь и видел на огромной многоцветной иконе евангельские жития.

То чудилась ему хвостатая голубая звезда, вставшая посреди неба, и под этой лучистой звездой в деревенском хлеве Богородица, утомленная родами, подносила к груди новорожденное дивное чадо. То начинала мерцать река, озарялись омуты с дремлющей серебряной рыбиной, в воду ступал Христос, и сверху на синем луче спускался сверкающий голубь. Вспыхивал прозрачными зарницами ближний лес, падали ниц апостолы, и над ними в голубом ореоле, в Фаворском сиянии, являл себя грозный Бог. Гремели звоны, народ кидал на землю живые розы, в монастырские ворота на белой ослице въезжал Спаситель. Мерцала ночная листва Гефсиманского сада, дрожала в свете луны золоченая чаша, и Иисус подносил уста к переполненной чаше, проливал на одежды кипящее вино. Высоко, среди звезд, на Кресте умирал Господь, струилась по ребрам горячая кровь, падала в далекие, за Истрой, луга, и в селе Бужарово среди ночи у малой избушки расцветал от тех капель шиповник.

Коробейников качался на тропке, голова у него сладко кружилась, и он любил эти волшебные русские дали, благодарил Того, кто посылал ему эти видения.

Они обогнули монастырь, остановились у стен, где открывался вид на близкий поселок. Желтели окна соседних домов. Катились по шоссе водянистые огни автомобилей. В ночное небо дико и пугающе почти у самых монастырских стен возносился белый громадный купол. Словно лежало непомерных размеров яйцо. В поселке размещался секретный научный институт, и под белой оболочкой купола скрывалась невидимая установка – то ли устройство для улавливания молний, то ли громадная, шарящая в небесах антенна, посылающая к звездам закодированные земные сигналы. Вид купола был чужероден, нелеп, страшен. Словно здесь побывало фантастическое существо, громадная змея или птица. Отложило яйцо, и теперь оно вызревало под туманными звездами.

– Вот она, твоя мегамашина. – Левушка указывал Коробейникову на яйцо. – Гордыня человека, который тщится схватить рукой небесную молнию, вознестись выше Бога. Но как Вавилонская башня, этот мерзкий кокон будет разрушен. Каждый раз, когда я его вижу, я молюсь: «Господи, сокруши Сатану!» И когда-нибудь, поверь, я буду услышан...

Коробейников не отвечал. Хотел угадать, что скрывается за глазированной скорлупой. Какие вольтовы дуги проскакивают между невидимыми электродами? Какие плазменные вихри бушуют в коконе? Какой зародыш бьется внутри, стараясь выйти наружу? Восхитительная райская птица в радужных перьях, с лучезарным хвостом. Или ужасный дракон с перепончатыми красными крыльями.

– Они разрушили храм Бога живого и возвели храм Сатаны... – перекрестился Левушка и увел их всех от мерзкого яйца в пролом стены, где они снова очутились среди звезд, лопухов и развалин.

У огромной сырой руины, перед округлым проемом Левушка извлек из кармана пучок церковных свечек, роздал сотоварищам. Они запалили робкие огоньки. Прикрывая ладонями, ступили в разрушенный храм. Звякали под ногами осколки изразцов. Мерцали на стенах остатки старинных узоров – глазированные птицы, волшебные цветы, наивные львиные головы.

Из подземелья дул ветер, и Коробейникова слабо шатало вместе с огоньком свечи. Он хватался за стены, касаясь ладонью то глазированных львиных губ, то холодного птичьего клюва. Видел, что и спутники его, колеблемые хмелем, ступают среди собственных зыбких теней. Только Левушка, зная дорогу в склеп, шел бодро, как поводырь, бросая косую тень.

– Вот здесь, – сказал он, останавливаясь перед плоской плитой, освещая ее выбоины, каменные морщины, рубцы, – здесь покоится святой патриарх. Помолимся, братие, о его душе, пребывающей в райской обители, где он вкушает мед жизни вечной. Встанем, братие, на колени...

Он первый опустился на пыльную холодную землю, держа перед собой свечу, озарявшую его впалые щеки, мерцающие голубые глаза. Рядом грузно, мешком, опустился Верхоустинский, заслонив свечу непрозрачной литой бородой. Петруша Критский легко и счастливо поник, наклонив шею с маленькой беззащитной головкой. Князь для чего-то обмахнул штаны, с костяным стуком коснулся пола, отбрасывая длинную усатую тень. Помедлив, испытывая головокружение, последовал их примеру Коробейников, ощутив на пальцах горячую восковую капель.

– Иисусе пречудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародителей избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, пророков исполнение...

Коробейников сжимал мягкую свечу, представляя, как под тяжелой плитой лежит патриарх, каким его изображала парсуна, – в серебряных негнущихся ризах, с выпуклой грудью, с большим сильным носом, цыганской смоляной бородой, под которой сочно выступают малиновые плотоядные губы.

– Иисусе прелюбимый, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепосте, Иисусе претихий, монахов радости, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте...

Коробейников старался вызвать в себе сердечное чувство, разорвать изнурительные тенёты думающего, вспоминающего, воображающего разума, чтобы перенестись в неразумное созерцание, открыть сердце для теплого, благостного дуновения. Но его разум отвлекался на блеск настенных узоров, на странные тени, падающие от согбенных фигур, на множество разбегавшихся мыслей и образов. Он видел бабушку в ванной, ее худые мокрые плечи, ковшик над ее головой. Архитектора Шмелева, стоящего в мельканиях проектора, и черный зазубренный ротор вращался у него на лице.

– Иисусе премилосердный, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе прелестный, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение...

И вдруг в темном сыром подземелье, среди холодного праха и мертвенных истлевающих стен, ярко и сладостно Коробейников увидел Елену Солим, ее обольстительную

шею, сильную красивую ногу под шелковой тканью, приоткрытую загорелую грудь с нежной ложбинкой. Ощутил сладостный запах ее духов, ее прелесть, женственность и доступность. Желал ее до умопомрачения, зная, что им суждено оказаться вместе. И потом, через несколько часов, когда уносила его в Москву утренняя электричка, и он сонно и обморочно сидел на желтой дощатой лавке, и мимо, занавешенные туманом, проносились березняки, болотца, спящие хмурые селения, он продолжал желать эту женщину. Целовал ее шею, грудь, приоткрытое округлое колено. Приближаясь к Москве, грешно и бесстыдно мечтал о ней, чувствуя ее приближение.

Часть вторая Хлеб

Глава 14

Роман, к которому приступает художник, в ослабленном, искаженном виде воспроизводит Божественное творчество. Утомленный одиночеством Бог создает огромное зеркало со множеством своих отражений. Смотрит в стекло на свои бессчетные лики, на смену времен и царств, на кружение звезд и планет, покуда ни наскучит смотреться. Ударом молнии разбивает стекло, зеркало разлетается вдребезги. Разочарованный зрелищами звезд и морей, деревьев и трав, людей и животных, Господь опять возвращается в безвременный мрак. Лишенный бесконечных подобий, отказавшись от сотворенной Вселенной, истребляет тьму и свет, зло и добро, миры и пространства. Вновь замыкается в неразделенном своем одиночестве.

Так думал Коробейников, колеся по казахстанской степи. Выполнял задание редакции, собирая материал о целинной жатве. Подсаживался на трясущийся мостик красного самоходного комбайна. Перескакивал в грузовик, везущий на ток пшеницу. Лежал на прохладных гудах зерна, глядя на туманные звезды. Прозревал свой роман, помещая в него белесую казахстанскую степь, красные громады комбайнов, изнуренных жатвой людей. Отождествлял себя с угрюмым худым комбайнером, с железным ревущим комбайном, с полем белой пшеницы. Был творцом и творением, добывая знание о своих бесконечных возможностях, о своем неизбежном конце. Предчувствовал, как напишет в романе эту казахстанскую степную главу.

«Я самоходный комбайн СК-4, заводской номер 275201, с размером жатки 4,1 метра, с пропускной способностью четыре килограмма хлебной массы в секунду, на десятом году моего бытия, утомленный и старый, стою на краю хлебной нивы, быть может, последней в жизни, и испытываю, как всегда, страх от ее белизны и нетронутости, предчувствие боли, ее и своей, вышних, безымянно-жесточких сил, столкнувших нас в истребительной, смертельной работе.

Стою, грохоча красными трясущимися бортами, приподняв над землей мелькающий ветряный вихрь. Нива, как литое стекло, ожидает удара, первого надкола и хруста, чтоб начать ломаться и брызгать, искрясь надломами, покрывая меня порезами. И мне идти, глотая колючую жаркую боль, превращая ее в прохладу намолоченных зерен, оставляя сзади пустое, огненное шелестение ветра. Зерно льется в меня, распирает и бродит, стараясь раздвинуть мои железные бедра. В усилье и муке раскрывает мне чрево, выходит туго и мягко, ложась под солнцем. Исчезает, оставляя на поле копну ломаной, беззвучно кричащей соломы, слабую, сладкую боль в опустевшем железном нутре.

Жилы мои напряглись. Боднул и истер в жидкий сок клочья травы у дороги. Дотянулся до первых колосьев. Нива, огромная и глазастая, как сошедшее с неба солнце, дышала, круглилась, и я, грохоча, терся о нее боками, железным своим языком.

Солнце в белом свечении. Чувствую его, как раскаленный в кузнице шкворень, который касается моей шеи, спины, и от меня пахнет паленой металлической шерстью. Рычаги и колеса ходят и чавкают, раздувая шелушащуюся, ржавую кожу. Я бережно остужаю ее движением воды. В стертое до блеска нутро залетело, бушует живое, ломающееся, рвущееся наружу вместе с перемолотым птичьим пухом, колючими семенами, кузнечиками. Раздувая зоб, в клетке, просторно и плавно кружусь по ниве, подчиняясь прикосновениям тяжелых угрюмых рук.

Это он, Михаил Коробейников. Чувствую его усталость и жажду. Откупорил флягу и пьет. Капли сорвались с его губ, мгновенно высохли, едва коснулись меня.

Мне скоро умереть и исчезнуть, а ему еще жить. И хочется знать, как будет ему без меня. Я несу такое знание о нем, такую повесть о нем, – драгоценный, укрытый от всех намолот. Когда меня рассекут и разрежут, разорвут и растащат крюками, из ржавого сора выпорхнут белоснежно его ночи и дни, незримая миру пшеница...»

Коробейников сидел в убогой придорожной гостинице над белым листком бумаги и совершал магическое перевоплощение. Расщепил свою личность надвое, и одну половину, как в теории переселения душ, поместил в судьбу комбайнера, того, с кем весь день кружил на пшеничной ниве. Другую половину вдохнул в металлический короб комбайна, продолжая рискованную работу по одушевлению машины. Художник, он часть своей человеческой сущности собирался отдать машине, наделив ее болью и верой, ощущением добра и зла. Риск заключался в том, сможет ли он вернуться обратно, расстаться с машиной и снова стать человеком. Или машина завладеет им навсегда, и он, потеряв свою душу, будет вечно вращаться среди угрюмых валов и колес.

«Помню Михаила в первое хлебное лето, которое исчезло потом среди бесконечных зим и метелей. Он был молод, его мускулы посылали в меня мягкую могучую силу, я переводил ее в радостный стрекот и гул. Слышал над собой его внезапную песню, сам был алый и свежий, носил на себе Михаила без усталости, подставляя спину ветру, брызгающим блестящим дождям. Оба ждали, когда же оно случится, то что неслось на нас в ветряной степной карусели.

Однажды подкатил грузовик. Распахнули борта. В кузове был постелен ковер. Пели, плясали. Михаил кивал благодарно. Смотрел на ту, что топчет, выплескивая из ковра разноцветные брызги. Когда спустилась на землю, сказал:

– Дома небось все половики исплясала? Как зовут тебя?

Быстрым розовым пальцем черкнула мне на крыле: “Валентина”. Вспорхнула на мостик, и они сделали круг по ниве.

Я бежал, раздувая хлеба, легкий, сильный. Они тихо смеялись. Я чувствовал, как люблю их. Конский череп, попавшийся мне под колеса, слабо проржал. Я толкнулся о землю, поднялся под тучу к парящей семье ястребов и кружил у белых туманов. И, глядя на глубокую ниву, на малую искру ковра, мы верили: нас всех ожидает небывалое счастье.

До сих пор в моем ржавом крыле теплится и звенит ее имя.

Теперь я разболтан и стар. Когда со скрипом и чадом качу по полю, из меня выпадают винты и гайки, высыпается сквозь щели зерно. Колос ломается от неверных ударов моего мотвила. К сердцу движется липкий масляный тромб, я задыхаюсь, чувствуя его приближение, мотор начинает сбиваться, сочась дурной липкой кровью. Я двигаюсь в обмороке, вслепую, готовый упасть и разбиться.

Поворот рычага и педали. Я могу отдышаться. Тромб отступает.

Не знаю, сколько я еще продержусь. Должен убрать эту ниву до того, как наступит крушение.

На поле прикатил бригадир, измятый, исколотый сорным мякинным ветром.

– Ты свой чертов шкаф завари, а то не напасешься зерна. – Он ткнул меня сапогом, подбросив на ладони горстку просыпанной мною пшеницы.

Вечером на площадке, куда меня пригнали, подошли двое механиков. Кувалдой нанесли два коротких страшных удара в ребра. Я ослеп от боли, сжимая бока. А они опоясали меня стальной полосой и стали жечь автогеном. Наваривали крепь, так что трудно было дышать. Краснели ожоги, я кричал. Новенький соседний комбайн, в первый раз видя такое,

покрылся холодной росой. Механики, окончив работу, устало ушли. А я остался, неся на бортах малиновые гаснущие пятна.

Всю ночь дул ветер, остужая меня, слабо гремя железом. И боль постепенно становилась частью любви к этим двоим, ушедшим к спящему в копне Михаилу.

В ту исчезнувшую звездную осень мы любили оставаться в степи. Михаил лежал в копне. Мой прожектор долго, призывно светил. У прожекторной чаши толпились слюдяные прозрачные скопища. Совы перевертывались в луче, как подстреленные. Зайцы смотрели зачарованно зелеными глазами. Наконец вдалеке, чуть заметное, возникало туманное облачко. Появлялась Валя, медленно выбредала в луче. Михаил принимал ее, мокрую и холодную, окутывал курчавой овчиной.

Мой маяк угасал. Степь лилась и плескалась, как море. Черкала мне о борт тусклой рыбиной, забрасывала на меня голубую неясную водоросль. Их копна чуть светилась, как крохотный остров. Начался дождь, слабый, как туман. Они расстелили овчину под моими колесами. Я накрывал их просторным, не остывшим от дневного движения телом. Она тронула меня и сказала:

– Да он у тебя живой, хлебом пахнет...

Я счастливо гудел в дожде.

Утром она ускользнула, оставив ситцевый поясок. Михаил повязал его, как флажок. Мы кружили по ниве, и он целовал поясок, а я сквозь грохот и лязг чувствовал на себе пеструю перевязь...»

Коробейников писал героев по образу своему и подобию. Вселялся в чужие жизни, как в полые оболочки, начинал существовать внутри их. Надеялся на свою судьбу, дарил им высшие состояния, подводил их к смерти, рискуя умереть вместе с ними. Это была опасная магия, но именно эта опасность заставляла его заниматься творчеством. Он рисковал не только собой, но и женой, чертами которых надеялся других женщин, и детьми, которых любил безмерно, но при этом отдавал их во власть опасного вымысла. Иногда, предаваясь неукротимой фантазии, ему казалось, что он может их потерять.

«Я брошей на ниве в холодном ливне. Он колотит меня по бокам, заливают за жестяной воротник, течет по груди, копится на дырявом поддоне. И вдруг хлюпающей толстой струей протекает на землю.

Копны, пропитанные дождем, стоят, словно бочки с водой. Нива отяжелела, брать ее будет трудней. Мои зубья, сточенные до десен, предчувствуют ломоту ледяных, наполненных влагой колосьев.

Бабочка, сырая и слипшаяся, вползла в мою ржавую щель. Раскрыла с трудом красноватые перепонки, пульсирует росистым тельцем. Я чувствую среди масляных валов и колес ее малую слабую жизнь.

Я знаю, что скоро умру. Думаю постоянно об этом. Чувствую смерть, как внезапное, готовое наступить упрощение моего механизма. Мне кажется, что я так просто и несложно построен, так наскоро шит, что мое исчезновение произойдет незаметно и быстро.

Но иногда мне кажется, что задуман я огромно и ярко. На мое создание пошло так много труда и мыслей, что смерть будет не в силах меня одолеть, она сотрет лишь самый верхний и неглавный чертеж. Под этим чертежом таятся другие, которых смерть уже миновала.

Я знаю, что прежде я был кораблем, самолетом. Я несу их в себе.

Когда я умру и расплавлюсь, моя гибель не коснется чистой стали, ей передам я клад накопленных прежде жизней.

Дождь кончился. Край тучи еще моросил разноцветно, но горячее солнце уже сушило мне спину.

Бабочка почувствовала сквозь железо тепло. Выползла, высыхает, утончаясь, возвращая себе яркость и легкость. Вспорхнула, оставив на мне прозрачную капельку.

Михаил идет по стерне, тяжелый и черный, с тусклым светом воды на кирзе.

Неужели, темный и тусклый, он был когда-то бел и румян?

Их зимняя свадьба. Сладкий дым их свадьбы, который я ловил, стоя за селом в сугробе. До меня долетали душистые запахи дыма из их трубы, и я знал, что в саду под окном закололи свинью, варят брагу, расставляют столы. Звяк и бой каблучков, ухарский свист, громовые песни и застольные вздохи. На цепях метались и лаяли собаки. Тревожно мычали коровы.

Под вечер, когда лед на речке позеленел, а солнце на мой сугроб легло полосатым ковром, свадьба пошла по дороге.

Среди размалеванных и хмельных гостей я увидел их, белолицых, держащих румяные яблоки.

– Миш, посмотри, не твой? Грустно ему, поди-ка, зимой? Ни поля нет, ни пшеницы, – сказала она, указывая в мою сторону яблоком.

– Ты моя пшеница, – засмеялся он.

Я смотрел, как течет их свадьба. Благодарил их и славил. А ночью видел: из звезд на хрупкой блестящей ветке свисают над их крышей два яблока.

Я бросаю из ноздрей черную копоть. Бегу на коротких кривых ногах. Несу над землей лязгающую зубастую пасть. Набиваю ее пылью и хрустом. Мое брюхо разбухло от тяжести, вот-вот разорвется, и вывалится требуха. Я бью эту ниву, стараясь ее свалить, но мне кажется, у меня за спиной она встает еще гуще и жестче.

Смеясь надо мной, подкинула ржавый трос, раскрошивший мои резцы, обломивший деревянные губы. Я остановился, беспомощно чавкая, пережевывая сталь, кровоточа изорванным ртом.

Михаил выпутал трос и, вздыхая, трогая мои десны и губы, очистил от осколков, вставил два новых ножа, тонкой медью срастил мотовило. Делал быстро, аккуратно и ловко, жалея меня.

Я напрасно сердился на ниву. Я убиваю хлеб, а он убивает меня, но я не испытываю к хлебу вражды. Как и он ко мне. Если я бываю жесток, то без злобы.

Мне страшно, когда в моем мотовиле бьются и погибают стрекозы. Страшно, когда зубья мои краснеют соком порезанных перепелок и зайцев. Каюсь перед ними, ибо мы, машины, – железные звери земли.

Мы все друг на друга похожи, ибо сделаны один для другого. Я похож на хлебную ниву, она на Михаила, а Михаил похож на меня. Ночами являюсь ему во сне. Огромный и красный, бегу по белым хлебам, а он стоит за штурвалом, белолицый, в красной рубахе.

Ночью, когда все успокоилось, готовясь отдохнуть и забыться, к нашей стоянке подъехал трактор, подцепил старый, с перегоревшим мотором грузовик, который стоял всегда рядом со мной. Поволок. Тот послушно покотил следом, с легкими стариковскими стонами, дребезжа изношенной, полуживой сердцевиной. Мы молча провожали его, зная, что больше никогда не увидим...»

Смысл творчества, как его понимал Коробейников, был связан с мессианской, вмененной свыше задачей. Надлежало порвать с обыденностью, пробиться сквозь опыт предшествовавших мастеров, преодолеть омертвелые слои бытия и вырваться к безымянному. Ожечься о него. Ослепнуть от его несказанного света. Возвратиться обратно в мир обугленным и слепым, принеся крупицу добытого знания, корпускулу нового опыта. Совершить для

мира открытие, даже если для этого потребуется умереть. Хотя смерть художника зачастую случалась раньше его физического исчезновения. Тогда, когда он убеждался, что открытие его миновало.

«В то лето степь бушевала, как стремительная зеленая буря. Брызгала дождем, хлебной пылью, свистящими молодыми колосьями. Рвала на себе зеленые сырые одежды, возникала то в красном, то в синем.

Михаил занимался ремонтом. Являлся по утрам, казался удивленным и ждущим. Замирал, держа инструмент, выщипывая что-то губами. Вдруг принимался холить меня, чистить и мыть.

Раз явилась к нему жена в колокольном широком платье. Встала, коснувшись меня животом. Смотрела на мужа, как тот, перепачканный маслом, держит блестящий подшипник.

– Миша, скоро уже, – тихо сказала она.

– Аккурат пойду молотить.

– Как назовем?

– Если девочка – Настенькой, а малыша – Васюткой.

Она прижималась ко мне животом, и я сквозь тонкое платье, сквозь дышащее живое тепло ловил в ней с испугом другую жизнь, бившуюся о меня, отзывающуюся во мне слабым эхом. В моих темных неведомых недрах, где таились самолет и корабль, и дальше, глубже, откликалась невнятная память о чем-то былом и огромном, к чему я был прежде причастен.

Моя хребтина гнется в ломоте, готова треснуть. Топливо не сгорает, а черными брызгами летит на стерню. Михаил вцепился в мой железный загрибок, сам черный и страшный, с наждачным лицом, с оскалом желтых зубов, сквозь которые со свистом вдыхает пыль.

Мне хочется упасть, ткнуться в землю. Но я знаю, что за мной прикатит тягач, утянет туда, где меня разрубят на стальные окорока, кинут в красное варево, где вскипают обломки колес и моторов. И страх при мысли об этом заставляет меня бежать.

Но не только страх, но еще и другая, записанная у меня на лбу то ли ложь, то ли истина – что смысл моей жизни в том, чтобы биться в степи, добывать урожаи, умирать за этой работой.

Эта истина не только моя. Она справедлива для людей и машин. Она досталась мне по наследству. Ею наградил меня самолет, весь недолгий стремительный век потративший на небесную жатву.

Я думаю о самолете, подарившем мне жизнь. И кругом – не хлеб, не шум мотовила, а белая туча и воющий блестящий пропеллер.

Летчик гонит меня по дуге, вычерчивая в небе спираль. Другой самолет идет по касательной к туче. Шлю ему вслед огненный пунктир пулемета. Распадаемся в разные половинки неба, сохраняя чертеж атаки, снова тянемся в точку встречи, видя ее в пустоте сквозь перекрестье прицела.

Яростный клекот сближения. Другой самолет пулями терзает мой фюзеляж, выпарывая лоскутья. Я обкалываю его стабилизатор, осыпая блестящим сором. Он вгоняет мне в плоскость очередь, соскабливая и сдирая обшивку. Я вскрываю ему подбрюшье, набиваю огнем и дымом. И еще живые, на последнем отрезке сближения, коснулись моторов и баков, превращаясь в два длинных растянутых пламени.

Раскрылись два парашюта. Им, двоим, еще продолжать стрелять и биться. А я в падении прощаюсь со своим повелителем.

Очнулся. Чавканье, хрип. Выпадает сырая копна. Под кровельной жестью облупленных и измятых бортов чуть слышно звенит истребитель.

В ту осень бог знает откуда появились крохотные желтоголовые птички. Усаживались на хлеба, сгибая колосья. Будто их принесло косым и случайным ветром.

Михаил все оглядывался, все смотрел за бугры, где осталось село, порывался туда укатить. Но нива держала, и порхали над копнами желтоголовые птички.

На дороге возник грузовик. Несся одиноко в пыли, словно горела степь. Из кабины крикнули:

– Миша, Валентина твоя рожала!.. Миша, Валентина твоя померла!

Михаил бросил меня и умчался, а я стоял на меже, лязгал и крутил мотовилом. Было одиноко и жутко молотить пустой воздух, выжигая вхолостую горячее. И свистели в темноте невидимые желтоголовые птички.

Ночь, молотьба. Чувствую, что Михаил заснул на мостике. Бегу, стараясь не растряссти его сон, минутное его забытье.

Верю, что не умру. Моя жизнь, бесконечная в прошлом, бесконечна и в будущем. Залогом тому бесцветная безымянная сталь, из которой я состою. Я бессмертен в бессмертном мире. Я самоходный комбайн с заводским шестизначным клеймом, построенный для временной цели, но мое бессмертие в том, что я создан из стали, готовой распустить в огне все клейма, формы и цели, – той стали, что бесцветно кипит под камнями и травами в бездне земли, реет в голубизне метеорами, наполняет мир неслышной магнитной музыкой.

Михаил заснул за штурвалом. Ему снятся мать и отец, оба молодые, нарядные, играющие с ним на траве.

Я тоже заснул на бегу. Мне приснился корабль, белоснежный, в разноцветных флагах, плывущий по синей воде. И такая любовь к кораблю, к слюдяному дрожанию над трубами, к красному поясу вдоль сильного белого тела.

Очнулся. Молотьба. Смешанный с гарью дождь. Михаил, хрипя и кашляя, жмет на рычаги и педали...»

Роман, который задумал писать Коробейников, казался важнее жизни. Ибо в романе, а не в жизни могло содержаться открытие, явленное ему в откровении. Открытие, во имя которого Господь наделил его талантом художника и послал проживать эту жизнь. Ждет его возвращения по другую сторону жизни.

«Он погибал эти годы. Так черная буря падает на готовое к севу поле. Терзает его и сосет, выхватывая соки и силы, выскабливая до твердых песчаников. И там, где замаслен хлеб, – красная лебеда и полынь тянут из камня жар. Так выгорал Михаил.

Он являлся захмелевший и шаткий. Рылся, бормоча, в инструментах. Вдруг запевал хриплую песню или забывался на грязной ветоши. Однажды выхватил ключ и принялся бить меня свирепо и тупо, кляня и ругаясь. А то прижмется лбом к моему железу и плачет.

В нем что-то обломилось, опадало и гило. И вдруг затихло, будто наступила зима. Он нес свою зиму несколько лет сквозь весны и жатвы, и трудно было понять, что там под снегом – застывшие зерна или пустая стерня.

Однажды, на третий год, когда выходили на ниву, он свернул с большака к кладбищу. Остановился перед чистой могилой с серебристой невысокой оградкой. Слез, бережно поставил стеклянную банку с цветами.

– Валя, слышишь меня? Это от меня и от Настеньки...

И я понял, что зима его подходит к концу, и в сонных зернах начинается рост и движение.

Каждую осень бывает день, которого жду не дождусь. Воздушная даль над хлебами начинает волноваться сильнее. В ней, в синеве, возникает движение, плотное стремление и бег горячих тел и голов. Сайгачий табун, отделяясь от горизонта, мчит по хлебам. Рогачи взмывают свечами, озирая путь впереди, подгибая тонкие ноги. Самки чутко хватают ноздрями разорванный воздух, окружают серпом молодняк, уводя его к югу.

Смотрю им вслед, молю, чтобы их миновали встречные залпы.

Нива, казавшаяся бесконечной, стала быстро убывать. Две-три тонкие последние строчки. Бушевала, и вот ее нет, превратилась в зерно. Но и его уже нет, остались лишь сожаление о зерне и о ниве, огромная пустота и усталость.

Я затих. Михаил Коробейников сидел, распустив пятерни, закрыв глаза, в которых было кружение, мелькание.

Тонко запела труба. Пионеры шли по стерне. Окружили комбайн. И, чувствуя, как умираю, я старался запомнить: сжатая степь, желтая над степью заря, в ней черная стая галок, девочка с красным галстуком. Протягивает моему комбайнеру зябкий букетик:

– Папка, это тебе... Прокати меня, папка...

Он посадил ее рядом на мостик. Из последних тающих сил я покатился, сжисная тонкую гриву пшеницы. И вдруг лошадиный череп, попавший мне под колеса, радостно и тихо проржал. И брызнуло светом, и мне показалось, что из усталого, старого тела у меня вырастают красные крылья, и в счастливой буре мы несемся под белой тучей. Внизу пшеничная, не имеющая очертания нива, и мы никогда не умрем».

Коробейников сидел в убогой придорожной гостинице, посреди ночной казахстанской степи. На пустой лист бумаги, опалив о горячую лампу слюдяные прозрачные крылья, бесшумно упало крохотное зеленоглазое создание.

Глава 15

Коробейников явился в газету по приглашению Стремжинского в тот день, когда на просторной, пахнущей краской полосе появился его «писательский» очерк о целинной жатве. С обилием красочных сцен, романтическим изображением людей и машин, с философией социальных проектов, где освоение целины приравнивалось к созданию океанического флота и высадке на Луне. Коробейников радовался этой крупной публикации. Принимал поздравления от газетчиков, одни из которых были искренни и сердечны, в других же проглядывала ревность к новоявленному фавориту. То же отношение к себе как к баловню и любимцу Коробейников обнаружил на пленительном лице полинезийской красавицы, восседавшей в секретарском кресле у кабинета Стремжинского. Взятая в плен экспедицией белых людей, она с первобытным талантом дикарки научилась улаживать прихоти утомленного командора. Была строга и неприступна для низших журналистских сословий и оболстительна для высшей касты. Улыбнулась Коробейникову обворожительным фиолетовым ртом, плеснула черным стеклом волос и с наивным изумлением произнесла:

— Миша, неужели столь романтично выглядит хлебная жатва? — И тут же доверительно, как другу и посвященному, добавила: — Проходите, он ждет.

Стремжинский пребывал в состоянии кратковременной праздности после подписания очередной газетной полосы, о чем свидетельствовала зеленая электронная цифра, напоминавшая водоросль. Он был без пиджака, из закатанных рукавов торчали мясистые волосатые руки, галстук был сдвинут. На тарелочке перед ним красовалось большое яблоко. Он внимательно его рассматривал, словно решал, на сколько частей следует рассечь ножом сочный румяный плод.

— Здравствуйте, мой друг. — Стремжинский поднял на Коробейникова большие глаза упрямого буйвола, в которых залегли два тонких рубиновых сосуда. — Своей публикацией вы заслужили того, чтобы сесть.

Он усадил Коробейникова и некоторое время разглядывал. Но если на яблоко он смотрел рассекающе, выискивая линии для предполагаемых надрезов, то Коробейникова он рассматривал взвешивающе, как некую целостность. Так механик оглядывает деталь перед тем, как вставить ее всю целиком в механизм. Этот оценивающий взгляд наводил Коробейникова на мысль, что Стремжинский приготовился к важному разговору и в последний раз прикидывает, стоит ли его начинать. И еще одна мысль, вслед за первой: если Стремжинский разрежет яблоко и одну половину предложит ему, то это будет означать, что между ними установился новый уровень доверительности по сравнению с тем, что обнаружился при встрече в «кружке» Марка Солима.

— Должен не без удовольствия сообщить, что ваш «хлебный» очерк вызвал одобрение в ЦК. Только что мне оттуда звонили, и я полагаю, ваша работа скоро ляжет на стол секретаря по идеологии. Задуманный нами проект находит поддержку. В мире есть не только Чехословакия, вопли диссидентов, антисоветская истерия на Западе, но и целинная благоухающая степь, мужественные трудолюбивые люди, вековечный русский хлеб...

Так, несколько патетично, в несвойственной для него манере, начал разговор Стремжинский. В этих словесных приготовлениях к основному разговору Коробейников усмотрел сходство с тем, как утаптывают снег вокруг места, где собираются разложить костер. Партийное здание ЦК, серо-сумрачное и помпезное, с золотыми литерами над подъездом, являлось таинственным вместилищем власти — той думающей и творящей субстанции, которой служили жрецы, подчиняясь строгой, невидимой миру иерархии. Один из них, именуемый секретарем по идеологии, с хищной головой беркута, как изображали его на больших полотняных иконах, был похож на древнеегипетского бога. Мысль о том, что в этом храме

могли о нем знать, волновала Коробейникова. В лабиринтах и анфиладах храма, напоминавшего огромную окаменелую ракушку, тускло-серую снаружи и нежно-перламутровую внутри, кто-то торжественно ступал в эти минуты, держа перед собой ритуальный поднос. На подносе лежала газета с напечатанным «хлебным» очерком. Верховный жрец с головой утомленного беркута, среди светильников и скрижалей, слышал гулкое приближение шагов. Таинственная субстанция, помещенная в хрустальную колбу, волновалась, дышала, пульсировала, сообщая жрецу свою бессловесную волю.

– Вы помните разговор у Марка Солима? Мы готовим серьезную идеологическую статью против «западников» и «славянофилов», «левых» и «правых» уклонистов. Хромой Барин показал мне первый вариант статьи, которая нуждается в доработке. Он действительно должен в ней меньше «окасть» и больше «грассировать». В целом же он справился с задачей блестяще, используя «колумбийские методики», в которых ему нет равных. Однако, тесня фланги, нам следует усилить магистральное направление. Господствующая идеология должна избавиться от обветшалых слов, мертвых формулировок, утомленных неэффективных людей. Есть огромный социальный запрос на писателей-государственников. Мы готовы поручить им ответственные темы, открыть источники информации, допустить туда, где государством совершаются великие деяния. Вы, мой друг, подпадаете под эту категорию...

Коробейникову представлялась секретная лаборатория, где на столе был развернут чертеж, над которым склонились творцы – многоумные инженеры, открыватели неведомых видов энергии, создатели новых материалов, изобретатели небывалых механизмов. Разглядывали устройство огромной, спроектированной ими машины, где четким рейсфедером с точными параметрами и сечениями была изображена деталь «Коробейников». Эту деталь сконструировал Стремжинский и встроил в машину. Гордился изобретением, получал на него патент. Коробейников, которому предлагалось стать деталью в огромной машине, не испытывал протеста и недовольства. Соглашался стать изобретением Стремжинского. Притворялся деталью, как притворяется мертвым жук, чтобы его не склевала сильная хищная птица. Став деталью, проникал внутрь машины, получая доступ к ее познанию. Став мнимой частью машины, узнавал ее устройство. Приближаясь к загадочной субстанции власти, он, художник, получал возможность ее исследовать.

– Мы готовим новый курс газеты, который, по меткому выражению Марка Солима, получил кодовое название «Авангард». Хотим создать новые магистрали и коммуникации, с новой эстетикой, новым наполнением, как это было в двадцатых годах, когда накопившаяся в обществе революционная энергия хлынула на холсты художников, в тексты писателей, в киноленты режиссеров. Тогда было создано искусство мирового значения, ставшее эмблемой социализма. В каком-то смысле мы хотим повторить этот опыт. Для этого собираемся показать все самое лучшее, что было создано в недрах советского строя и что пока еще находится под семью печатями. Пора, как говорится, показать товар лицом. Однако этому товару нужен привлекательный товарный вид. Вам, одному из немногих, откроют объекты, доселе абсолютно закрытые. Я говорил о вас в политических кругах...

Коробейников испытал волнение в предчувствии наступающих для него перемен. Его выбрали. На нем остановили внимание. Его изучают. Находят пригодным для важного, мало кому посильного дела, смысл которого еще не вполне понятен. Доступен Стремжинскому, который оказывает ему доверие, вводит в круг избранных, ручается за него. Это доверие отзывалось в Коробейникове благодарностью к властному, тяжеловесному и одновременно изящно-легкомысленному человеку, верность которому он навсегда сохранит, оправдает доверие, разделит с ним все риски, какие подстерегают любого новатора, о чем свидетельствует разгром мистической авангардной культуры. И хотелось ближе узнать Стремжинского, за пределами этого рабочего кабинета с телефонами и электронным табло. Увидеть там, куда уносит его черный сверкающий лимузин, – в храме власти на Старой площади, в

богатой квартире на улице Горького с видом на Юрия Долгорукова, на подмосковной лесистой даче у Рублевского шоссе, в кругу интеллектуалов и очаровательных женщин, одна из которых, в облике полинезийской волшебницы, стережет его кабинет.

– Вы получили доступ в салон Марка Солима, случайно или в результате чьей-то тонкой интриги. В любом случае, мой друг, это весьма престижно. С виду это неформальный кружок приятелей, попивающих виски, исподволь, вожаденно поглядывающих на очаровательную хозяйку, развлекающих друг друга анекдотами, каламбурами и забавными историями. На деле же это «чакра», через которую проходят чувствительные энергии власти. Отдел кадров, где кропотливо подбираются исполнители для деликатных политических и культурных проектов, а также отправляются в отставку сильные мира сего, для которых иногда подбирается катафалк и ниша в Кремлевской стене. Если угодно, это политический предбанник, где отдыхают вельможи в белых покрывалах. А за закрытыми дверями бани стоит такой пар, хлопанье кипятка, свист веников, что от этого свиста глохнут Америка, Европа и Азия. В этой раскаленной политической бане идет жестокая борьба. Пусть вас не обманывает дружная когорта вождей в шляпах и шапках-пирожках на трибуне Мавзолея. Днем матерчатые портреты членов политбюро мирно висят на фасаде ГУМа, а ночью они набрасываются друг на друга, и утром охрана Кремля убирает лохмотья, заменяя истерзанные портреты новыми. Во власти идет непрерывная схватка, которая началась среди соратников Ленина, тайно продолжалась среди приближенных Сталина, стоила карьеры Хрущеву, не утихает в ближнем окружении Брежнева. Нужно хорошо ориентироваться в этой борьбе, коль скоро вам предложат заниматься актуальной идеологией и политикой...

Коробейникову предлагалось заглянуть в таинственный, околдованный храм власти с золотой надписью над гранитным входом. Предлагалось ступить в неведомые лабиринты со множеством ответвлений, тупиков, ложных коридоров и коварных ловушек. Для этого опасного странствия требовался поводырь, знаток лабиринта, служитель храма, коим являлся Стремжинский. Двойственность этого человека объяснялась тем, что в одних своих проявлениях он являлся азартным политиком, неукротимым работником, утонченным сибаритом. В других же был жрецом, облаченным в темную мантию, на которой серебром был вышит циркуль. Этот второй, с серебряной эмблемой, возьмет Коробейникова за руку, словно слепца, поведет по спиральям и лабиринтам, уберегая от падений, пока ни попадут в освещенную хрустальную залу, где в прозрачной колбе пульсирует, перетекает и дышит загадочная субстанция власти.

– В этой схватке политических группировок, если вы так или иначе в нее втянулись, важно не оступиться. Важно поставить ногу на твердую, а не на мнимую ступень, которая вдруг начнет проваливаться, и вы рухните. Если мало собственного опыта, поможет опыт другого, например мой опыт. Я стану вам помогать, но я должен быть в вас уверен...

Коробейникова охватила тревога. Ему предлагали подписать договор, текст которого был неразборчив. Обещали поддержку в том, что было сокрыто. Художник, он был готов рисковать ради опыта, который ему сулили, не обещая успеха. Так рискует вулканолог в асбестовом костюме, повисая над огнедышащим кратером. Космонавт, зачехленный в скафандр, выходя в беспощадный космос. Сказочный витязь, облаченный в хрупкий доспех, ступая в пещеру дракона. Его программировали для опасной работы, не открывая ее сокровенную суть. Он согласился превратиться в деталь, которую вставят в машину, но ядовитая среда и огонь окислят машину, деталь намертво вырастет в механизм и сгорит вместе с ним. Коробейников, как зверь, ощутил эту угрозу гибким хребтом, от чуткого кобчика до похолодевшей затылочной кости.

– За власть в стране борются партия и КГБ. Эта борьба не видна вооруженным глазом. Госбезопасность формирует свои прослойки в армии, экономике, дипломатическом корпусе и в культуре. Создает информационные потоки, управляя политическими решениями

и поступками лидеров, ослабляет позиции неугодных преемников Брежнева. Чехословацкий кризис используется госбезопасностью для ущемления партийной группы, для усиления своей роли во всех сферах внутренней и внешней политики. После разгрома Берии и вытеснения спецслужб из политики госбезопасность скрытно реализует реванш. Я небезучастен к этой борьбе. Вижу опасность в усилении КГБ, который рвется управлять государством. У меня репрессирован отец, расстрелян дядя, я помню, что такое ночные аресты. «Авангард», о котором я вам говорил, есть форма противодействия КГБ...

Коробейников чувствовал, как пролитая кровь, подобно грунтовым водам, подступает к поверхности жизни. Слабо розовеет во всех, даже в самых благих проявлениях власти. Безымянные кости, погребенные вдоль дорог и каналов, засыпанные в ямы в окрестностях громадных заводов, тихо дремлют до времени. Когда-нибудь внезапно восстанут, вознесутся жуткими небоскребами, стряхивая беспомощную жалкую власть. Его род, как и множество русских истребленных родов, сочился кровью. Однако его, Коробейникова, отношение к власти было свободно от мести. Являло собой допущение, согласно которому власть, пройдя свой кровавый период, действует не во зло, а во благо. Так думала его мать, тетя Вера, архитектор Шмелев. Всесильная власть, претендующая на мировое господство, была уязвима в своем основании, где были зарыты кости и розовела пролитая кровь. Не умела «заговаривать кровь», не умела обращаться с костями. «Авангард», о котором говорил Стремжинский, должен был стать искуплением, смиряющим оскорбленные кости, заговором, останавливающим пролитую кровь, заклинанием, убеждающим детей не мстить за отцов.

– Борьба, в которую вы, быть может, сами того не сознавая, уже вмешались, ставит вас перед выбором. Вам придется выбирать между партией и КГБ. Или вы вступите в партию, получив от нее высшее доверие, высшее знание, путь к пониманию самых закрытых явлений, а также путь к литературному успеху и славе, которой вы, обладатель таланта, достойны. Либо, если вы отвергнете партию, вам придется стать агентом КГБ...

Коробейников смотрел в выпуклые, воловьи глаза Стремжинского, в которых мерцали рубиновые струйки. Знал, что его искушают, ставят на кровлю храма, откуда открывается туманная московская даль с кремлевскими звездами, мостами над тусклой рекой, теснинами зданий, дымами заводов, застывшей каменной рябью, в которой окаменел ветер столетий. Все это предлагалось ему, сулило успех и славу, богатства и наслаждения, магическое сокровенное знание, приобщавшее к сонму жрецов. Но в этом огромном граде, пережившем царей и вождей, высилась поднебесная колокольня, опоясанная золотой, недоступной пониманию надписью, объяснявшей смысл бытия. Отвергнув соблазн, избегнув прельщение, через подвиг и жертву, когда-нибудь он облетит колокольню, прочтет золоченую надпись, постигнет смысл бытия.

– Я вам сказал сейчас достаточно много. Быть может, избыточно много для первой откровенной беседы. В заключение сообщаю, что принято решение показать вам закрытые оборонные объекты. Военную техносферу, где сконцентрированы высшие достижения социализма, поставленные на службу национальной обороны. Это огромная степень доверия, которая потребует от вас не только умения описать стратегический бомбардировщик или палубный авианосец, – здесь у меня нет никаких сомнений, – но и умения проникнуться до мозга костей «государственной идеей», как говорил философ Бердяев. Однако нужна гарантия, что вы окажетесь на высоте этой роли. Гарантией будет служить не секретный допуск, подготовленный органами КГБ, а ваше вступление в партию. На иной основе наше общение невозможно и будет выглядеть как нонсенс...

Стремжинский умолк, изложив Коробейникову тезисы их будущего взаимодействия, ограничив это взаимодействие рядом неперемennых условий. Коробейников, глядя на тяжелое, умное, в грубых складках лицо Стремжинского, на его выпуклые, фиолетовые глаза утомленного быка с кровавыми струйками в синеватых белках, вдруг в прозрении, с больным

состраданием подумал: «Этот могущественный, виртуозный человек, изощренно управляющий сознанием миллионов людей, беззащитен и несвободен, встроен в огромную анонимную мегамашину как одна из ее деталей. И если деталь вдруг выйдет из строя, или перестанет служить машине, или машине потребуется иная деталь, его извлекут из огромного механизма и выбросят на свалку обломков. Поставят на его место другую, более совершенную деталь, быть может, деталь “Коробейников”».

– Вот так-то, мой друг, – улыбнулся Стремжинский, взглянув на электронное табло, где одиноко дрожала зеленая цифра.

– Красивое яблоко, – тихо произнес Коробейников, кивнув на плод с холодным глянцеви́тым румянцем.

– Хотите? – встре́пенулся Стремжинский.

Хрустя ножом, рассек яблоко. Протянул половину Коробейникову. Совершив «обряд преломления», они молча вкушали сладчайшее яблоко.

Глава 16

Наступил долгожданный, головокружительный день, когда из Австралии в Москву прилетала Тася, для Коробейникова – тетя Тася, чудом обнаруженная среди огромного клубящегося потустороннего мира, куда канула и бесследно исчезла половина рода. Корабли, переполненные обезумевшей толпой, остатки разбитых армий, вереницы беженцев и пого-рельцев – все бежало, уплывало, спасалось за границей, преследуемое конниками, стреляющими бронепоездами, строчащими пулеметами и тачанками. Тася, как печально, вполголоса говорили о ней, уехала из советской России позднее, на стажировку в английский колледж. Да так и осталась на другой половине земли, заслоненная дымом войны, лязгнувшим железным занавесом, гулом и грохотом, разломившим мир на две несопоставимые истории, на два несоединимых времени, в каждом из которых, словно чайники в двух разных чашках, кружились судьбы разделенных семейств. Однако чудо случилось. Через четыре десятка лет Тася возвращалась в семью, от которой осталась ее родная сестра Вера, двоюродная сестра Таня – мать Коробейникова, бабушка Коробейникова, приходившаяся Тасе тетушкой, и много могил, известных и неизвестных, где упокоились некогда сильные, добродушные и счастливые люди, что так любили очаровательную, смешливую девушку с белым бантом, в милой кокетливой позе сидящую на качелях. Когда мать рассматривала этот снимок в альбоме, ее глаза начинали тихо светиться и наполнялись слезами.

С утра в квартиру в Тихвинском переулке пришла тетя Вера, строгая, чуть ходульная, с манерами старой девы, коей она и являлась, проведя молодые годы сначала в уральском лагере на лесоповале, а потом на долгом поселении. Прямая, с плоской спиной и грудью, большим носом и седыми, расчесанными на прямой пробор волосами, она облачилась в старомодное долгополое платье, придававшее ей сходство с пожилой классной дамой. Ее волнение в связи с предстоящей встречей выражалось в том, что она застывала посреди комнаты и по многу раз бессмысленно протирала полотенцем тарелку из фамильного сервиза, забывая поставить ее на стол.

Мать, возобладав над болезнью, тревожно и вдохновенно светила, став молодой и красивой в своем торжественном темно-малиновом наряде, который так любил Коробейников. Занималась изготовлением домашней, «молоканской» лапши, раскатывая скалкой тонкое ароматное тесто, посыпала его белой мукой, рассекая живой, нежный пласт на тонкие лепестки и обрезки. «Молоканская лапша» должна была породить у Таси воспоминания о многолюдных семейных обедах в их прекрасном тифлисском доме и воскресить дух исчезнувшей, поредевшей семьи.

Бабушка, торжественная, в темном, пахнущем нафталином платье, сидела в кресле с величавым лицом прародительницы, готовясь к ниспосланному Богом свиданию, и ее губы беззвучно шевелились, словно она читала молитву. Мать подходила к ней, спрашивала тот или иной совет, касавшийся изготовления лапши, толстотелых пирогов с капустой и яблоками, а также клюквенного мусса, именовавшегося в семье на немецкий манер – «Химмельшпайзе». Наклонялась к бабушке, расправляла ее белый кружевной воротник, купленный когда-то в Париже.

– Ну что, пора, – мать в который раз посмотрела на часы, обращаясь к Коробейникову, – поезжай в аэропорт, а то, чего доброго, опоздаешь.

По дороге, сидя за рулем Строптивой Мариетты, он пребывал в сладостном предвкушении встречи, один из немногих, кто продлил на земле некогда плодovitый род. Поколение бездетных дедов и бабок поредело в тюрьмах и ссылках, в изгнании и в изнеможении невыносимых лет. В следующем звене род окончательно обмелел и выродился – не вернулся с войны, сгинул в лазаретах, в женской своей половине не обзавелся женихами, чьи молодые

кости умостили поля сражений от Волги до Одера. В его, Коробейникова, жизни род сузился до робкого ручейка, струящегося в хрупком русле под бережной опекой мамы и бабушки. И только рождение двух его детей, его деятельная чадолюбивая жена Валентина вселяли надежду, что род не иссякнет. Слившись с другим обмелевшим родом, начнет прибывать, наполняться жизнью.

Он ехал в аэропорт Шереметьево, вспоминая любимых стариков, тех, которых застал, и тех, кого знал по старинным фотографиям в альбоме. И эти воспоминания были связаны с несомненным добром и светом, были из области абсолютной любви, в которой очищались и спасались его душа и память. Таинственная австралийская гостья уже была им любима, причислена к сонму родовых святых, в кого превратила семейная религия исчезнувших пращуров.

Он оставил «москвич» на стоянке и сквозь окно аэропорта смотрел на просторное зеленое поле с каменным, напоминавшим цветок сооружением, куда причаливали утомленные заморскими перелетами лайнеры, своими силуэтами, размерами, цветными клеймами отличные от знакомых советских марок. Вслушивался в мегафонные объявления на русском и английском, ожидал прибытия рейса из Сиднея. И когда наконец над полем снизилась большая, похожая на летающую корову машина с отвислым брюхом и тяжелыми, словно вымя, двигателями, он угадал самолет из Австралии и представил, как устало сидит в кресле пожилая женщина, повторявшая тетю Веру чертами фамильного сходства.

Он толкался в толпе встречающих, отделенный перегородками, стенками, поручнями от далеких, клубящихся пассажиров, над которыми совершалась продолжительная и мучительная процедура. Сначала их ярко освещали и долго, недоверчиво рассматривали из-под колышков жесткие глаза пограничников, перелистывавших паспорта с чужими гербами, доводя встревоженных визитеров почти до обморока. Затем они бестолково вылавливали на конвейере свои переполненные тюки и огромные кожаные чемоданы с колесиками и волокли их к таможенным пунктам, где подозрительные чиновники в форме рылись в дамском белье, вспарывали упаковку «кассетников», вываливали на пластмассовые столы ворохи диковинных заморских изделий, пугая хозяев резкими, на плохом английском вопросами. Их подвергали дезинфекции, карантину, термической и химической обработкам, помещая то в огненную печь, то в морозильник, уничтожая принесенные вирусы, тлетворные вещества, предохраняя от заражения здоровую, не подверженную заболеваниям землю, куда те явились. По одному, стерилизованных, сквозь узкие турникеты, их выпускали наконец в зал аэропорта, соединяя с огромными пространствами загадочной, между трех океанов, страны, где им никогда не достичь тех целей, ради которых они явились.

Коробейников, поднимаясь на цыпочки, видел, как медленно колеблется среди хромированных ограничителей вереница пассажиров. Среди заморских пиджаков, шляп и жакетов, среди лысин и париков углядел высокую, с мясистым лицом даму в голубом, в которой, несмотря на удаление, угадал ту, которую поджидал с нетерпением. Посланец оскудевшего рода, он принимал в родовые объятия неведомую, но любимую, возвратившуюся из долгих скитаний беглянку.

Когда дама, страшно взволнованная и огорченная, волоча огромную суму и трясущийся на колесиках чемодан, остановилась среди толкающих ее людей, Коробейников шагнул и, стараясь быть радушным и легкомысленным, произнес:

– Тетя Тася... Это я, Михаил Коробейников... С прибытием...

Увидел, как недоверчиво дрогнуло, радостно озарилось, благодарно осветилось ее мясистое немолодое лицо, окруженное седыми, с голубизной, волосами.

– Миша?... Танин сын?... Так вот ты какой!..

Они обнялись. Целуя пухлую теплую щеку, Коробейников уловил сложные запахи пудры, туалетной воды, медицинских специй, исходящие от новообретенной родственницы.

То были запахи иных континентов, иных городов и пространств, из которых явилась тетя Тася. Она была одета в сине-голубую гамму, с бирюзовым платком на шее, голубоглазая, с фарфоровыми голубоватыми зубами, что создавало тщательно подобранный, сберегаемый стиль, в котором она замыслила себя, возвращаясь на русскую родину.

– Позвольте ваши вещи... Тут рядом машина.

Коробейников принял поклажу, видя, как все еще недоверчива, испугана путешественница. Как со страхом покосилась на милиционера. Как слабо шарахнулась от проходящего пограничника, словно боялась, что ее задержат, продолжат опрос и, не дай бог, арестуют в этой стране непрерывных насилий и утеснений. И только в автомобиле, сидя рядом с Коробейниковым, проезжая ажурный мост через солнечный канал, пролетая мимо нарядного Речного вокзала, оглядываясь на огромные помпезные здания у Сокола, она понемногу успокоилась. Спрашивала Коробейникова:

– А это что?.. Это что?.. – смотрела на неузнаваемый, построенный без нее город, куда рискнула явиться и который переливался стеклом и солнцем в ее голубых изумленных глазах.

Они приехали на Тихвинский, поднялись на четвертый этаж. Искоса глядя на взволнованное, испуганное, ожидавшее невероятной встречи лицо, Коробейников позвонил. Услышал быстрые, мгновенно откликнувшиеся шаги. Дверь отворилась, и возникло ощущение бесшумного взрыва, когда под огромным давлением соединяются два разделенных перемычкой объема. Тася и Вера оказались лицом к лицу, как два каменных ампириных льва на воротах. Встретились и окаменели две родные, порознь прожитые жизни, одна из которых покинула Вселенную, улетела в иные миры, а теперь вернулась, и обе были превращены в изваяния. Не умели кинуться друг другу на шею, зацеловать, облиться слезами, похожие одна на другую, с одинаковыми носами и подбородками, между которыми бесшумно вскипали два разных времени, не в силах соединиться в единое целое. Создавали непреодолимый барьер, мешавший губам слиться в поцелуе.

– Тася, боже мой!.. – из-за спины тети Веры выглядывала мать, бессильно и немощно пытаясь сломать эту непроницаемую преграду, размягчить жесткий омертвелый рубец в том месте, где произошла ампутация, преодолеть отторжение, мешавшее срастить отсеченную плоть.

Так неловко, путаясь и пугаясь, они вошли в комнату, где в креслице поджидала их бабушка. Увидела Тасю, с истошным воплем, словно ее толкнула больная пружина: «Тася, девочка моя!» – подскочила в кресле и тут же рухнула бессильно обратно, потеряв сознание. Бледная, бездыханная, с большим коричневым зобом на открытой шее, вытянула из-под платья тощие, обутые в шлепанцы ноги. И этот страстный, больной, почти предсмертный крик разбудил всех. Оживил каменные львиные лица. Размягчил до розовой кровоточащей плоти огрубелые швы. Бросил их всех сначала к бабушке, которая приходила в себя, слабо шевелила губами: «Девочка моя дорогая...» – и потом друг к другу. Все три сестры обнимались, целовались и плакали, склоняя седые головы. В комнате пахло валерианой и заморскими духами. Коробейников, взволнованный, с увлажненными глазами, подносил всем по очереди стакан с водой. Сбиваясь со счета, опрокидывал целебные капли.

Они сидели в маленькой, ставшей вдруг тесной комнате, наполняя ее своими всхлипами, улыбками, глубокими вздохами. Их первое соприкосновение кончилось больным ожогом, и теперь они боялись обращаться друг к другу. Чего-то ждали, быть может, того, чтобы расточилась огромная, накопленная в разлуке разница переживаний, страхов, потерь, сдлавшая их, когда-то дорогих, ненаглядных, отчужденными и неловкими, не умеющими произнести сокровенного слова, через которое они бы снова узнали и полюбили друг друга. Тася извлекла носовой платок, осторожно утирала голубые, с покрасневшими веками глаза. Коробейников заметил, что у платка была аккуратнo вышита синяя каемка.

– Господи, ведь все эти вещи я видела когда-то в нашем тифлисском доме!.. Неужели они сохранились?

Тася всматривалась в кровати, стулья и тумбочки из ореха, вишни и дуба – остатки великолепного убранства из исчезнувшего богатного дома, где все дышало обилием, благородным укладом, радушием многолюдной жизнелюбивой семьи.

– Этот буфет, его чудесные нежные створки! – Она поднялась, приблизилась к буфету, любовно и пугливо отворила легкие стеклянные створки, которые слабо и чудесно прозвенели, словно узнали ее, откликнулись на ее прикосновения мелодичными переливами. – Я помню этот звон! – Тася обернулась к сестрам своим помолодевшим восхищенным лицом. – Когда баба Груня открывала его и доставала посуду, это означало, что к обеду собирается вся семья, на стол ляжет бело-синяя тяжелая скатерть, на ней засверкает наш фамильный фарфор и хрусталь. Сколько раз в эти годы я слышала во сне этот перезвон. Просыпалась, молилась о вас, не зная, живы вы или нет. Умоляла Господа, чтобы он сберег вас среди невзгод!

Боже мой, это наш любимый «волшебный фонарь»! – Тася подняла лицо к потолку, где на бронзовых зеленых цепях висел светильник в свинцовой оплетке, собранный из разноцветных стекол. – Вера, ведь он висел над роялем, ты помнишь? Мы всегда, даже днем, зажигали его, играя в две руки полонезы Шопена. Нам казалось, что светильник начинает переливаться, наполняется то золотым, то зеленым, то синим. Мой поклонник, немец-студент фон Штаубе, говорил, что, когда мы играем, в светильнике начинает звучать «музыка сфер».

Она поискала на стене выключатель. Зажгла светильник и стояла под ним восхищенно, воздев к нему руки, словно молилась на волшебное, загоревшееся над ее седой головой светило, прислушиваясь к таинственным, витавшим под потолком звучаниям.

– Это чудо какое-то! А эта тумбочка, она стояла в гостиной! Как-то вечером, когда шел дождь, было сумрачно, все попрятались по комнатам. Наш огромный дом затих, и мне стало так печально и одиноко, что я прокралась в гостиную, сжалась в комочек у тумбочки и думала о том, как умру. Было так горько знать, что навсегда исчезну и меня никогда не будет. Отыскала подушечку со швейными иглами и острием нацарапала на тумбочке свое имя, словно желая увековечить. Боже мой, да вот же оно!

Тася тронула большой, пухлой, перевитой венами рукой ореховое дерево тумбочки, и от ее прикосновения проступили тонкие буквы. Усталая старческая рука утончилась, засветилось хрупкое девичье запястье, и в тонких пальчиках драгоценно блеснула игла.

Коробейников с благоговением наблюдал обряд поклонения фетишам, каждый из которых отзывался звуком, свечением, едва уловимым колебанием, признавая в Тасе ее подлинность, достоверность, сообщая другим, присутствующим при обряде, что эта престарелая дама в иноземных нарядах, явившаяся из иного уклада и времени, является не мнимой, а истинной родственницей, связана с остальными священными узами рода, поклоняется, как и они, деревянным идолам и богам из ореха и красного дерева, молится священным сосудам и вазам, светильниками и лампадам.

– Зеркало, милое, дорогое! – Она подошла к подзеркальнику, над которым в старой высокой раме сияло тусклое серебряное стекло. Приблизила одутловатое лицо, в складках, припорошенное мертвенной пудрой, окруженное ненатуральной, голубоватой сединой. – Как я любила в него смотреться! Расчесывать волосы костяным гребнем! Прикреплять к груди белый бант! Перед тем как идти на свидание к фон Штаубе, целый час проводила перед этим зеркалом, примеряя поочередно сто разных платьев! Как я люблю тебя, милое зеркало!

Она приблизила губы к стеклянной грани, где застыла холодная сочная радуга, и поцеловала стекло. Затуманенное ее дыханием, зеркало вдруг отразило прелестный девичий лик с сияющими очами, кокетливой милой улыбкой, белый шелковый бант на невинной робкой груди.

Все зачарованно смотрели на Тасю, любя, сострадая, принимая ее в свой поределый круг, куда она стремилась, пересекая океаны и континенты, преодолевая необозримое пространство порознь прожитых лет.

– Что же я сижу! – спохватилась она. – Привезла вам подарки!

Она кинулась к чемодану, величественному, кожаному, с распухшими боками, на котором медные застёжки, красивые замки, крохотные колесики свидетельствовали о добротном, продуманном, устоявшемся укладе. Прохрустела запорами, откинула крышку, и оттуда выдавилось и распустилось нечто пушистое, мягкое, золотисто-горчичного цвета.

– Тетя Настенька, я подумала, что тебе среди наших русских холодных зим будет очень кстати эта теплая кофта. Настоящая австралийская овечья шерсть, отлично выделанная!

Она выхватила из чемодана легкое, почти невесомое изделие. Держа за рукава, опустила кофту на колени бабушки, и та благодарно поймала и поцеловала ей руку. Светилась маленькими лучистыми любящими глазами:

– Какая ты чуткая, душевная... Тасенька моя дорогая!..

А та, вдохновленная, увлекаясь ролью дарительницы, извлекла из чемодана прекрасную плотную шаль с пушистой бахромой. Раскрыла ее, распространяя по комнате вкусный душистый запах. Ловко и изящно накинула шаль на плечи тети Веры, одновременно приобняв ее, прижавшись к ее худому плечу. Тетя Вера зарумянилась от удовольствия, женским движением запахнулась в шаль. Повернулась к зеркалу, приподняв плечо. Кокетливо, словно девушка, заиграла глазами, осмотрев себя.

– Спасибо. Это то, что я так люблю. Ношу старенькую, оставшуюся от мамы шаль. Вот бы она была рада такому подарку! – Она поцеловала сестру, и в этом поцелуе была благодарность, а также память об их ушедшей матери.

– Танечка, ты всегда любила улесться с книгой на нашей тахте и накрыться полосатым, цветастым покрывалом, которое дядя Коля купил у турчанки. Вот тебе мой подарок, чтобы никакие сквозняки тебя не пробрали! – Она вынула сложенное многократно смугло-коричневое, ворсистое покрывало. Развернула его и широким взмахом набросила на кровать, скрыв под пушистыми волнами все ложе с гнутыми овальными спинками. Мать, тихо ахнув, пробовала ткань на ощупь, подносила к лицу, целовала, благодарно и счастливо взирая на сестру.

– Помнишь, как мы с тобой забирались под турецкое покрывало и ты мне читала стихи Огневцева... Боже мой, как будто вчера...

Коробейников и в этом усматривал таинственный обряд дарения, ритуал принесения священных даров, коим пользовались люди для умягчения сердец, искупления грехов и провинностей. Так поступали волхвы, и послы, и блудные дети, возвращаясь в покинутую обитель, и дарители «шуб со своего плеча», передавая с подношениями свои помыслы о добре и мире. Вручали с дарами часть своего бытия, уповая на благодать и любовь. Тася одаривала вновь обретенных родственников дорогими покровами, словно окружала их своей нежностью, винулась перед ними, уповала на их милосердие.

– Миша, – обратилась она к Коробейникову торжественно, с трогательно дрожащим голосом, – твоя мама, моя любимая Таня, писала мне о тебе. О твоём творчестве, о твоей книге, которую я мечтаю прочесть. О том, что ты много путешествуешь по Сибири и по нашему русскому Северу. Я долго думала, что бы тебе подарить. Ходила по магазинам и наконец остановилась на этом. Надеюсь, тебе будет тепло и комфортно.

На вытянутых руках она подала ему бежевый джемпер из тончайшей шерсти, легкий, элегантный, с красивым стрельчатым вырезом и маленьким нарядным ярлычком, где красовалась изящная аббревиатура. Коробейников вспыхнул от удовольствия, принимая подарок. Вдыхал исходящее от джемпера благоухание, запах иной жизни, иной эстетики и благополучия, которые отсутствовали здесь, волновали своим несходством и совершенством.

– А это твоей милой жене Валентине. Таня радуется вашему союзу, и я очень, очень хочу с ней познакомиться.

Она освободила от упаковки кожаную дамскую сумочку с прелестным тисненым ремешком, узорным замком и множеством вкусно пахнущих отделений, куда она сама с любопытством, по-женски, заглядывала, гладила внутренность сумочки большими белыми пальцами, на которых красовалось бирюзовое в серебряной оправе кольцо.

– Ну а это твоим замечательным детям, Настеньке и Васеньке. – Тася выложила на кровать поверх пушистого покрывала ярко-голубое платице с изумительным красным цветком и нарядный комбинезончик с пряжечками, молниями, кармашками, украшенный блестящей эмблемой с хвостатым кенгуру. – Уж я старалась купить на вырост. Очень волнуюсь, угодила ли...

Коробейников поцеловал щедрую заморскую тетушку, испытывая к ней благодарность, радуясь приобретениям. Тася, исполнив обряд подношения, удовлетворенная, сияла васильковыми глазами, позволяя родне еще и еще раз осматривать и ощупывать ее подношения.

– Ну что же мы с дороги тебя не кормим!.. К столу, к столу!.. – разохалась мать, и они с тетей Верой принялись расставлять тарелки, раскладывая фамильные серебряные ложки с монограммами, резную деревянную хлебницу с пшеничным снопом, уцелевшую от стародавних застолий.

Коробейников открыл бутылку красного грузинского вина. Помог бабушке пересестись из низенького кресла на высокий старинный стул. Принес и водрузил на подставку горячую кастрюлю с молоканской лапшой. Все расселись, и, когда Коробейников разлил вино, мать взялась за хрупкую ножку бокала. Не встала, а лишь потянулась вверх своим похорошевшим, помолодевшим лицом:

– Наша любимая, милая Тася... Мы приветствуем тебя в нашем доме и не верим глазам своим. Случилось чудо, о котором мы не смели мечтать. Ты исчезла на долгие десятилетия, и мы не знали, что с тобой случилось, жива ты или нет, но думали о тебе постоянно и тайно надеялись, что эта встреча возможна. Очень больно, что не дождалась тебя твоя мама – наша любимая тетя Маня, и тетя Катя, и дядя Коля, дядя Миша, дядя Петя. Все они тебя любили и мечтали увидеть. Но мы, оставшиеся в живых, выскажем тебе чувства, что они не успели. Ты вернулась в свой дом, в свою семью. Мы хотим, чтобы ты почувствовала тепло, любовь после стольких выпавших тебе испытаний. Знай, что мы тебя бесконечно любим... За тебя, дорогая сестра!

Тася поднялась, подходила по очереди ко всем сидящим, чокалась, и по лицу ее катились обильные слезы.

Потом они ели горячую душистую молоканскую лапшу и говорили о Тифлисе, о семейных праздниках, как чудесно готовила лапшу баба Груня: вешала на спинки стульев тонко раскатанное, нежно-желтое тесто, и они, девочки, тайно отщипывали сладкие лепестки и лакомились, убегая в сад. Мать разложила по тарелкам толстые молоканские пироги с капустой, и Тася, ссылаясь на диету, отказалась было от второго куска, но потом не удержалась и с наслаждением ела, щедро намазывая сливочным тающим маслом чудесную еду своего детства. И это тоже казалось Коробейникову действием, через которое они сближались, вновь сочетались в единую семью, воскрешали прошлое, в нем приобщаясь к исчезнувшему роду.

После чая с яблочным пирогом они отдохали, все трое усевшись на кровать, набросив на себя необъятное австралийское покрывало. Коробейников приблизил к ним бабушкино креслице, и бабушка блаженствовала, видя, как близко, почти касаясь, светлеют их немолодые лица с фамильным сходством ртов, носов, подбородков.

– Ну как же ты жила эти годы? – задала мать вопрос, витавший в воздухе все время, покуда длился обряд сближения, после которого стало возможным обратиться с этим пугающим, роковым и неизбежным вопросом. – Что было после того, как ты уехала в Лондон?

– Танечка, дорогая, после этого случилась вся моя остальная жизнь длиною в полвека и краткая, как день единый, – ответила Тася, печально и незащитно сжав губы, словно мыслью пробежала по жизни взад и вперед, по радостям и несчастьям, и эти воспоминания звучали в ней, как черно-белые клавиши рояля. – Вы помните, что я была направлена на стажировку совершенствовать мой английский язык после неудачного романа с фон Штаубе. Я с радостью уехала в Лондон, предавалась учению, стараясь забыться. В Лондоне я была совершенно одна, но у меня был адрес. Если помните, в Тифлисе, когда в городе стояли войска Антанты, к нам в дом приходил английский солдат Джеффри Лойд, такой белобрысый, веснушчатый. Баба Груня его привечала, кормила, и он, тоскуя на чужбине по дому, так любил бывать в нашем обществе. В Лондоне я нашла его. Он ответил добром на добро. Повел меня в баптистское собрание, познакомил с удивительными людьми. Я слушала лекции проповедника Фетлера и уверовала. Религия стала для меня второй родиной, и, когда срок стажировки окончился, я самовольно решила продлить пребывание в Лондоне...

Коробейникову казалось, что эти слова звучат в прозрачном, расплавленно-стеклянном воздухе, какой струится над раскаленным асфальтом, рождая загадочные миражи, когда одно и то же видение присутствует в разных слоях, и неясно, где явь, а где ее отражение. В одном и том же времени присутствовал Лондон, чопорно-серая башня парламента с кругом больших часов, ажурная готика Вестминстерского аббатства, пахнущий свежим сеном необъятный зеленый газон Гайд-парка, по которому быстро идет прелестная русская девушка в нарядной блузке и шляпке, и встречный велосипедист радостно ей улыбается, оглядывается на нее, уходящую. В то же время в сумрачной, тревожной Москве ночью был арестован ее дядя Петя. Поднят с постели. Одевался под взглядом суровых чекистов. Спускался по лестнице под звяканье тяжелых винтовок. Скрывался в коробе тюремного грузовика. Катил по пустому городу в огромный дом на Лубянке, где жутко и жарко светились ночные окна.

– Я поступила на баптистские курсы, где готовили миссионеров для поездки в разные отсталые страны, к дикарям, чтобы проповедовать Слово Божье, открыть язычникам свет Божественного Писания. Нас учили оказывать первую медицинскую помощь, швейному искусству, умению водить машину. Я решила посвятить себя служению людям, отказаться от мирских забот и целиком предать себя Богу...

Коробейникову представлялся чистый, с белеными стенами молитвенный дом, дубовые лавки с партами, за которыми сидит и внимает усердная паства, слушая дородного, басовитого проповедника, чей голос сочными руладами возносится к гулким сводам, апостольски наставляя слушателей любить ближнего, как самого себя, любить Великого Бога, который сотворил весь мир. Тася, в скромном платке, в длинном чопорном платье, восторженно слушает, желая служить Божественному просветлению заблудших людей, любя их всех, надеясь пробудить в них огонь живой веры. А в это же время сестра ее Вера, молодой самоотверженный доктор, работает на Урале, где возводятся домны Магнитки, огромные поднебесные башни, окруженные кружевом деревянных лесов. Кипящие толпы рабочих, подводы лошадей и полуторки, красные транспаранты и флаги. Вера в новенькой двухэтажной больнице, обращенной окнами на громадную стройку, ощущает себя членом всенародной артели, на равных с монтажниками, кузнецами и сварщиками, с русскими, хохлами, мордвой. К вечеру совлекает с себя белоснежный медицинский халат, повязывает кумачовую косынку, отправляется в клуб смотреть кинокомедию, в гогот, хохот и свист. Там же, в клубе, она была арестована, увезена на допрос, длившийся двадцать лет.

– Моя первая миссионерская поездка была в Нигерию, на несколько лет. Миссия размещалась недалеко от Ибадана, почти в джунглях, в небольшом деревянном доме, где был

молельный зал, медицинский пункт и комнаты для персонала. С утра я садилась за руль «форда», часто одна, и ездила по окрестным селениям. Заходила в хижины, проповедовала Слово Божье. Черные мужчины и женщины слушали меня вежливо, молча, а потом исполняли свои дикие африканские танцы, поклонялись деревянным идолам и расходились. Я ездила к ним недели, месяцы. Попадала в страшные ливни, утопала в раскисших дорогах, ночевала в ужасных джунглях. Молила: «Господи, просвети их!.. Дай им вкусить хлеба духовного!..» И какова же была мне награда, когда через несколько месяцев неустанных проповедей, к зданию миссии пришли из леса идолопоклонники. Сложили к порогу своих идолов, и мы вместе под огромным солнечным деревом молились Господу. Пели хором мой любимый псалом: «Боже, ты светишь во тьме, и тебя узрит слепец...»

Коробейников чувствовал, как обморочно расслаивается стеклянное время, и в одном из текущих слоев, на красноватой африканской земле, под огромным изумрудным деревом стоит деревянное строение с крестом, укрылся под навесом обшарпанный «форд», в горячей траве клубится ворох сверкающих бабочек. Тася опустилась на колени, окруженная полуголыми дикарями, вдохновенно поет псалом, и по ее счастливому лицу бегут слезы восторга и благодарности. В другом стеклянno-струящемся времени ее двоюродная сестра Таня, молодой архитектор, проектирует новый город вокруг Днепрогэса. Возводит серо-стальные конструктивистские здания, монумент энергетикам, и вдали, среди сияющих вод, драгоценная, словно кристалл, сверкает прекрасная гидростанция. Вернулась после рабочего дня в общежитие, раскрыла письмо – арестованы дядя Коля и тетя Катя, тоскливые вопли родни.

– Моя вторая миссионерская поездка была в Полинезию, на острова, где когда-то жил Миклухо-Маклай, а позже обосновался Гоген. Огромный, душистый океан, то солнечно-лазурный и нежный, то черно-кипящий и грозный. Рядом с миссией высились пальмы с кокосами, на деревьях верещали и хлопали крыльями изумрудно-алые носатые птицы. Я проповедовала Евангелие, повторяя подвиг апостолов, разнося в самые дальние уголки благую Христову весть. Помню, как меня вызвали в стойбище туземцев, недалеко от побережья. Там рожала женщина, мучилась, не могла разродиться. Я помогла ей, приняла ребенка, обрезала пуповину. Роженица, едва придя в себя, подхватила младенца, пошла на берег океана, усыпанный белым горячим песком. Вывалила в песок сначала ребенка, а потом себя, чтобы целебный раскаленный песок исключил заражение. Помню, как они лежали на берегу, словно в сверкающем сахаре, только ребенок открывал свой маленький красный зев. Я славила Господа за то, что есть и моя доля в рождении этого чудного младенца...

Коробейников испытывал странное головокружение, как если бы его жизнь протекала одновременно в двух несопоставимых измерениях, в которых существовали два разных пространства, тянулись два разных времени. Эти голубые лагуны с солнечным белоснежным песком, на которых нежились смугло-фиолетовые, похожие на шелковистых животных женщины, играя перламутровыми раковинами. Тася в матерчатых белых туфлях шла по песку, кланяясь, улыбаясь этим ленивым грациозным красавицам. А в это время в России начиналась война, немецкие танки рвались к Москве, его, Коробейникова, отец оставил университетскую кафедру, нарядился в долгополую шинель и ушел добровольцем на фронт. Тем же месяцем дядя Петя получил освобождение из лагеря и, когда ему зачитали указ, от радости на пороге барака умер от разрыва сердца.

– Началась война, японская армия высаживалась на островах, и мы очень волновались, слушая сводки войны. За нами приплыл английский эсминец, забрал на борт сотрудников миссии и поплыл в Австралию. Океан был бурный, ужасный. Я страшно боялась, что мы повстречаемся с японским флотом, будет бой и эсминец погибнет. Ночью я вышла на палубу. Была страшная тьма. Волны перехлестывали через борт. Я встала на колени на железную мокрую палубу и взмолилась, чтобы Господь пощадил меня, избавил от ужасной смерти в

пучине. Впереди, среди вихрей и волн, что-то слабо засияло, будто зажегся маяк. Я знала, что это Господь идет впереди корабля по водам и указывает путь к спасению...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.